

Дарвинизм. Критическое исследование. Заключение¹

Н.Я. Данилевский

Логические ошибки Дарвина. Причины успеха его учения. Несостоятельность его как с положительно-научной, так и с философской точки зрения

<...> Общая сторона Дарвинова учения рассмотрена мною с достаточного числа сторон и с достаточными подробностью и обстоятельностью, чтобы дать читателю полную возможность судить о его состоятельности. Я указал на множество ошибочных выводов, на множество не-

верностей и положительных невозможностей, нагроможденных друг на друга, от самых первоначальных оснований теории, почерпнутых из наблюдений над домашними организмами, до ее довершения. Я не стану перечислять всех моих выводов, но укажу лишь на главнейшие.

Фактические ошибки и неверности Дарвинова учения

1) Каковы бы ни были результаты изменчивости прирученных животных и культурных растений, *высокая прирожденная способность к изменчивости необходимо должна была обуславливать выбор животных для приручения*, по одним, а *растений для культуры* – по другим причинам; а по одному уже этому нельзя делать от них правильных заключений на все прочие, в лоне дикой природы живущие существа (Гл. III).

2) При одичании организмов, прежде прирученных или культивированных, они возвращаются к своему дикому типу, как это преимущественно доказывается большим числом возвратившихся в дикое состояние культурных растений, не отличимых от их вполне диких родичей. Возражения же Дарвина против фактов одичания заключаются в совершенно произвольных условиях и требованиях, существом вопроса вовсе не оправдываемых. А этот факт по собственному признанию Дарвина предполагает в видовом типе некоторую присущую ему силу, неизглажи-

ваемую, неуничтожимую никакими влияниями, коим организмы были подвергнуты при одомашнении (Гл. III)².

3) Заключение о том, что *изменчивость диких животных и растений сравнительно с домашними, во столько раз сильнее, во сколько природа могущественнее человека, есть чистейший софизм*. Подобно тому, как природа никогда не произведет паровой машины, хотя сила пара, имеющаяся в ее распоряжении и несравненно значительнее той, которою может располагать человек; так же точно нельзя ожидать, чтобы изменчивость и наследственность, не направляемые разумом, произвели результаты, подобные достигаемым посредством искусственного подбора, но в несравненно значительнейшем размере, ибо искусственный подбор есть также своего рода машина (Гл. III).

4) Чем бы ни были произведены замечаемые в домашних породах и разновидностях более или

¹ Печатается в современной орфографии с частичным сохранением авторской пунктуации и незначительными сокращениями по изданию: Данилевский Н.Я. Дарвинизм. Критическое исследование. – М.: ФИВ, 2015. – 976 с. Примечания, кроме особо отмеченных, принадлежат Н.Я. Данилевскому. Имена иностранных ученых, на труды которых ссылается Данилевский, а также географические названия приведены в соответствии со сложившимся современным написанием (Ред.).

² Присоединю здесь один факт, пропущенный мною при изложении этого предмета. Покойный Брандт в статье о живущей в Малой Азии козе *Capra aegagrus*, принимаемой им за родоначальницу домашних коз, говорит: «Она сходствует (stimmt) с разновидностями домашней козы, более приближающимися к основной форме, именно, с одичавшими в Швейцарии и Греции, *даже в распределении цветов*». Mel. Biol., t. II, 3 livr., p. 244. Значит возвращение одичавших к родоначальному дикому виду значительно, что к дикому типу возвратился даже столь непостоянный признак, как окраска.

менее значительные отклонения от своих типов, отклонения эти нигде не достигли видовой ступени различия, а только эта ступень и могла бы служить точкою опоры для аналогического заключения о происхождении форм от форм в диких организмах, о происхождении видов, об *Origin of species*, как Дарвин озаглавливает свое сочинение (Гл. IV, V).

5) Значение самого основания, на коем зиждется вся теория, есть значение искусственного подбора как деятеля, преимущественно изменившего прирученных животных и возделанные растения, чрезмерно преувеличено Дарвином. Самые существенные изменения домашних организмов, в морфологическом смысле, произведены вовсе не подбором, а другими, независимо от него и самостоятельно действовавшими факторами, главнейше же самопроизвольными (spontaneous) крупными изменениями, происходившими скачками, в пример коих я представил два несомненных факта: однолистную землянику и плачущую биоту³, которые по размерам своим равняются различиям, представляемым наиболее уклонившимися от типа породами голубей.

Другой пример не подбором происшедших, а, напротив того, подбором возвращаемых к своему типу, отклонений, размерами своими также не уступающих голубиным, представили нам китайские золотые рыбки. Наконец, и сама история голубиных пород, и само мнение Дарвина об относительном значении изменений, произведенных в них подбором и другими деятелями изменчивости, мнение, графически выраженное им в генеалогической таблице этих голубиных пород, показывают, что в оценке результатов, достигаемых подбором, прав не Дарвин, а те любители, которые в глаза насмеваются над тем, кто скажет им, что какой-нибудь коротколицый турман произведен подбором от какого-нибудь гонца, от польского голубя, или от дикого голубя (Гл. VI).

6) Таким образом, база, от которой Дарвин исходит для своих аналогических заключений, сокращается до самых ничтожных размеров, а поэтому все измерения, им, так сказать, делаемые в безднах времени, теряют всякую достоверность (Гл. VI).

7) Борьба за существование, которая в процессах природы должна, по мнению Дарвина, заступать место определенной и методической, или хотя бы только неопределенной деятельности человека при подборе, совершенно лишена необходимых для произведения подбора свойств:

крайней интенсивности, непрерывности и единства направления (Гл. VII).

8) Интенсивность, повсеместность и повсеременность борьбы за существование преувеличены Дарвином, как это до очевидной ясности видно из примера ленточных рыб, молотрусов⁴, оленей и многих других животных и растений, продолжающих существовать и благоденствовать, несмотря на очень сильные несовершенства их строения или инстинктов для сколько-нибудь успешной жизненной борьбы.

Неустанная, неумолкающая, неумолимая борьба за существование есть только отвлеченная математическая формула, а не выражение действительности, в которой борьба то одним, то другим средством постоянно умеряется и на более или менее продолжительный срок даже совершенно прекращается. То там, то здесь, то для одних, то для других существ наступают более или менее продолжительные перемирия, во время которых полученные преимущества, если даже и допустить частные торжества и начинающиеся победы, теряются; и дело всякий раз приходится начинать сызнова, как вкатывание на гору Сизифова камня. То же действие должны иметь не только совершенные перемирия, но и всякое изменение в направлении, в объекте борьбы (Гл. VII и также XI).

9) Независимо от всего сказанного, скрещивание, – и это главное, – должно сглаживать, уничтожать все, что неопределенная изменчивость могла бы произвести, если даже допустить полную ее безграничность. Посему, нет и не может быть никакой аналогии между искусственным подбором и подбором естественным. В ряду факторов, которые своим соединением и взаимодействием должны бы произвести этот последний, недостает именно того фактора, который составляет всю сущность первого, недостает устранения скрещивания, в чем весь подбор собственно и заключается. Борьба за существование без сомнения существует, и обращение на нее внимания естествоиспытателей составляет действительную заслугу Дарвина; но подборительных свойств она не имеет, она есть принцип биогеографический, определяющий во многом распределение организмов по лицу Земли, но биологического значения не имеет, и иметь не может (Гл. VIII и IX).

10) Существование множества безразличных, бесполезных и даже вредных признаков различных разрядов и также чисто морфологический характер изменений, претерпеваемых неко-

³ Имеется в виду декоративное дерево *Biota orientalis* из семейства кипарисовых (Ред.).

⁴ Имеется в виду *Molothrus ater* (буроголовая волювья птица) из отряда воробьинообразных (Ред.).

торыми органами (с особенною ясностью плавающим пузырьком рыб), совершенно необъясним для теории подбора (Гл. X и XI), и потому

11) Если бы естественный подбор существовал, то тот органический мир, который произошел бы как результат его деятельности, им обусловленный, то есть происшедший от взаимодействия изменчивости постепенной, неопределенной и безграничной; наследственности, передающей старые и новые признаки путем, предначертанным ей Дарвином, и борьбы за существование, обладающей всеми теми свойствами, которые ей Дарвин приписывает, притом, при устранении, каким бы то ни было образом, сглаживающего и поглощающего влияния скрещивания: *этот-то на Дарвиновых началах построенный органический мир имел бы совершенно иной характер, нежели тот, который ныне действительно существует.* То был бы мир, по нашим теперешним понятиям, из действительности почерпнутым, нелепый и бессмысленный. *Таким образом, Дарвиново учение приводится ad absurdum*⁵ (Гл. X и XI).

12) Если бы естественный подбор существовал в природе, то должен бы был оставить известного рода следы своей деятельности, как в ныне живущем животном и растительном мире, так и в мире палеонтологическом; но *следов этих, то есть незаметными оттенками переливающихся переходных форм,* ни здесь, ни там не существует (Гл. XII).

13) Главное объяснение отсутствия этих следов, представленное Дарвином: крайняя скудость, неполнота, недостаточность геологических и палеонтологических документов, — частью пустая отговорка, частью же неверное перетолковывание фактов; ибо, как раз те самые формации, которые по Дарвину должны бы были преимущественно сохраниться, именно форма-

ции опускания, должны бы представлять и наибольшее количество переходных форм, а никак не наоборот, никак не формации поднятия, имеющие менее шансов на сохранение. Если, следовательно, *следов этих не находится в формациях опускания, то в формациях поднятия их и подавно не было* (Гл. XII).

14) *Все примеры вымирания видов, которые мы можем проследить, не представляют нам коррелятивного, соответственного вымиранию, рождения новых форм,* вытеснение коими первых и должно бы, по теории, главным образом обуславливать их вымирание, как побежденных в борьбе за существование, в которой поражение ведь означает смерть. Это доказательство, хотя и не может считаться равносильным с предыдущими, потому что Дарвин не только не отвергает, но и положительно признает, что случаи вымирания без соответственного рождения новых форм часто должны были иметь место; но все же, такое стечение обстоятельств, что все случаи вымирания, история коих более или менее известна (в особенности же вымирание многих видов лошадей в Америке), ни разу не представили подтверждение нормальному Дарвинову процессу, — очень странно, маловероятно и потому для теории очень не благоприятно (Гл. XIII).

15) Наконец, *ко всем этим невероятностям и невозможностям, присоединяется еще положительнейшая невозможность вместить Дарвинов процесс образования видов в огромный период истекшего геологического времени,* несмотря ни на какое допустимое преувеличение этого последнего и преуменьшение продолжительности первого, — все равно, введем ли в наш сравнительный расчет исчисление времени годами, или исключим этот гипотетический элемент и ограничимся выражением его геологическими формациями (Гл. XIII).

Логические ошибки Дарвина

Для читателя, считающего себя достаточно компетентным в настоящем споре, я полагаю, что все дело представлено мною и с должным беспристрастием, в том смысле, что ни одно существенно важное доказательство Дарвина не пропущено и не обессилено в моем изложении, и изложено с должною полнотой; а все мои доводы против разбираемого учения также достаточно полны и доказательны, дабы он мог решить с достаточным основанием, на какую сторону ему стать. Но при моем труде, как это и выражено во «Введении», я имел преимущественно в виду чи-

тателей, или вовсе не претендующих на причисление себя к числу ученых, или хотя и ученых, но по совершенно другим отделам знания, читателей, которые могут все-таки считать себя недостаточно компетентными, чтобы решительно признать, на чьей стороне правда, так как я не мог же ведь избежать множества специальностей, находящихся вне круга их знаний и обычных размышлений. В уме их, хотя бы они и склонялись на мою сторону, кажется мне, может и должен возникнуть такой вопрос или такое сомнение: действительно, в прочитанном нами представлено много ошибок, много невероятностей и даже полных невозможностей, выставляя-

⁵ К абсурду (лат.).

ющих учение Дарвина в свете более нежели сомнительном и по которым ничего не остается, как отвергнуть его; но этому окончательному выводу все-таки препятствует некоторое затруднение так сказать психического свойства, некоторый *argumentum ad hominem*⁶. Как могло случиться, что ученый со славою Дарвина, обладавший, по общему признанию, в том числе и по признанию его критика, необычайною проницательностью, огромным запасом знаний, огромным трудолюбием, самую тонкою наблюдательностью, великим искусством в экспериментации, мог впасть в подобные заблуждения? Как могло случиться также, что учение, встреченное при самом своем появлении с почти единодушным восторгом и вот уже четверть столетия господствующее в ученом мире и приобретающее все новых и новых поклонников и последователей, не успело обнаружить своих недостатков в глазах стольких специалистов и в течение столь долгого времени? Ответить на эти вопросы, разъяснить это сомнение – я считаю себя обязанным, полагая, что без этого труд мой не был бы полон.

Относительно самого Дарвина ответ мой будет состоять в том, что я постараюсь поставить читателя, считающего себя некомпетентным судьей в естественноисторических вопросах, в совершенную независимость от всякой естественноисторической специальности, поставить его на чисто логическую точку зрения. Кто и в ней считает себя некомпетентным, для того, конечно, я ничего сделать не могу. Если мне удастся показать, что Дарвин в своем главном сочинении, в котором устанавливает и развивает свое учение и которое сам называет «*одним длинным аргументом*»⁷, делает несомненные логические ошибки в существенной части своей аргументации, то, очевидно, что и весь аргумент его должен потерять свою доказательную силу, сколь бы ни были точны и строги сами приводимые им факты, наблюдения и опыты, так как ведь все дело в выводах из них, а не в них самих.

Таких логических ошибок, таких неправильных выводов – могу я указать несколько, и именно в тех самых пунктах, на которых он опирает свою теорию, а не в каких-либо мелочах и частностях, мало относящихся до сущности дела. – На своем месте я часто на них уже указывал, но там могли они оставаться незамеченными; сопоставленные же вместе они получают все свое значение, всю свою силу для обсуждения его учения.

1) *Неправильная и пристрастная оценка вероятностей.* Учение Дарвина все основано на взвешивании и расчете вероятностей. Нужно ли в доказательство приводить цитаты? Впрочем, вот место, уже раз мною приведенное, которое служит оправданием для перехода от наблюдений над домашними организмами к дикой природе и, следовательно, лежит в основании всего учения: «*Может ли казаться невероятным, – говорит он, – чтобы от времени до времени стали происходить изменения в чем-либо полезные в великой и сложной борьбе жизни для самих индивидуумов, когда мы видим же, что такие полезные, хотя и не для них самих, а для человека изменения происходят у домашних животных и растений*»⁸? В своем месте вывод этот был мною опровергнут, или, по крайней мере, в значительной степени обессил, но теперь не в этом дело. Означенное свойство теории, казалось, должно бы заставить надеяться, что Дарвин обращает самое строгое внимание на правильность оценки тех вероятностей, на коих он строит свое учение; но именно в этом отношении трудно себе представить больший произвол, чем позволяемый себе Дарвином. Где это нужно для целей его теории, он принимает вполне для сего достаточными такие ничтожные шансы, которые граничат или даже совпадают с полною невозможностью; а в других случаях не в пример меньшую степень невероятности считает достаточной для отвержения того, что ему не нужно или не нравится. На несколько таких примеров я указывал, но еще один считаю нужным привести здесь с некоторою подробностью, так как доселе об нем не говорил.

Для Дарвина было весьма важно доказать, что все породы домашних голубей произошли от одного дикого вида (*Columba livia*), и вот те главные доказательства, на которых он это основывает:

а) Многие полагают, что родоначальниками некоторых пород домашних голубей могли быть дикие виды, жившие на небольших островах, которые могли поэтому вымереть в природе. Дарвину представляется это невероятным по нескольким причинам: человек имел доселе очень слабое влияние на истребление простого дикого голубя, и потому невероятно, чтобы ему удалось истребить одиннадцать других видов, так как столько пришлось бы их принять для объяснения этим путем различных особенностей, замечаемых у домашних пород. Невероятно это и для малых островов, ибо простые дикие голуби до сих пор водятся на небольших Фарерских остро-

⁶ Аргумент к человеку (*лат.*).

⁷ *Darwin*. Origin of species. VI ed., p. 404.

⁸ *Darwin*. Origin of species. VI ed., p. 102.

вах, и на малых островах вдоль берегов Шотландии.

Далее, по всему, что мы знаем о географическом распространении птиц, невероятно, чтобы на островах вблизи Европы когда-либо жили особые виды голубей; а привоз их с отдаленных океанических островов невероятен потому, что морские путешествия до 1600 года (когда все главные породы домашних голубей уже существовали) производились очень медленно, корабли дурно снабжались свежей провизией; живых птиц было, следовательно, трудно доставить в Европу⁹.

Что все это действительно довольно невероятно, против этого я не спорю; но однако же нетрудно возразить, что полевого голубя потому не мог истребить человек, даже и на малых островах, что это птица далеко распространенная, далеко и отлично летающая, и если бы и была истреблена в одном месте, вновь бы залетела туда из других мест, чего не могло бы быть с голубиным видом, предполагаемым эндемическим на каком-либо острове; также, несмотря на законы географического распределения птиц, по которым на близ материков лежащих островах трудно предположить существование видов, совершенно различных от материковых, живет однако же на Канарских островах в диком состоянии совершенно особый вид – наша канарейка, и эта канарейка с Канарских островов, так же как и индейка из Америки, были уже в то старое время привезены в Европу из стран довольно отдаленных, несмотря на медленность плавания и плохое снабжение кораблей свежей провизией. Почему же, следовательно, было не привезти и голубей, если бы таковые жили где-либо на островах Атлантического и даже Индийского или Тихого океана, тем более что для зерноядных птиц ни в какой трудно сохранимой свежей провизии надобности не было?

Наконец, что касается до вымирания стольких видов из рода голубей, то ведь вымерло же в Америке шесть или семь видов лошадей, живших в относительно недавнюю эпоху, и не на маленьком острове, а на целом обширном континенте.

б) Если характерные отличия домашних пород зависели от их происхождения от диких видов с точно такими же признаками, то надо предположить, что люди намеренно или случайно выбрали для приручения птиц с формами, самыми неестественными для этого рода, и что человек не только приручил несколько ненормальных видов, но что все эти виды вымерли в диком

состоянии. «Эта двойная случайность до такой степени невероятна, что существованию стольких ненормальных видов можно поверить только в случае прямых непреложных доказательств»¹⁰, говорит Дарвин.

Но что же тут особенно невероятного, что вкусы первоначальных приручителей голубей походили на вкусы теперешних английских любителей-причудников? Эта любовь к странному, по мнению Дарвина же, и совершенно справедливому, составляет характеристическую черту любительских вкусов. Еще менее можно тут видеть невероятное столкновение двойной случайности в том, что столько видов вымерло. – Это, конечно, большая невероятность, но она не усиливается, а, напротив того, ослабляется ненормальностью видов. Чем ненормальнее, то есть чем приспособленнее были виды к редким исключительным обстоятельствам, тем легче могли они вымереть в диком состоянии, что не мешало им сохраниться в домашнем.

Не всегда, как мы видели, Дарвин так осторожен относительно двугубых и трегубых случайностей, и притом еще случайностей, независимых одна от другой и потому правильным образом не возрастающих в соответствии одна с другой, и с третьей и т.д.

Приводя эти примеры, я вовсе не то хочу сказать, чтобы Дарвин отвергал на недостаточных основаниях происхождение пород домашних голубей от самостоятельных диких видов; совершенно напротив, я нахожу, что в этом случае он вполне прав в оценке степени этих невероятностей. И, по моему мнению, их вместе с другими приводимыми им доводами вполне достаточно для принятия происхождения домашних голубей от одного дикого вида. Я хочу лишь обратить внимание на сравнительное значение этих невероятностей, приводящих Дарвина к отвержению гипотезы происхождения домашних голубей от нескольких диких видов, с теми, на которые я указывал в VIII и в IX главах, в доказательство невозможности так называемого естественного подбора вследствие поглощения скрещиванием всякого возникающего индивидуального изменения, сколько бы оно ни было полезно и выгодно само по себе.

То же самое скажу и об Дарвиновом объяснении отсутствия переходных форм в ископаемых организмах неполнотою геологических и палеонтологических документов, объяснении, противоречащем самым основным правилам оценки вероятностей, как это доказано в главе XII.

⁹ Дарвин. Прирученные животные и возделанные растения. Т. I, с. 189 и 190.

¹⁰ Дарвин. Прирученные животные и возделанные растения. Т. I, с. 191 и 192.

И, однако, в одном случае, несравненно, неизмеримо меньшая невероятность считается Дарвином достаточной для отвержения гипотезы о нескольких диких прародителях домашних голубей; а в других, неизмеримо большие невероятности упускаются из вида, игнорируются (как это теперь говорится). Убивающие теорию: поглощение скрещиванием и неизбежность нахождения ископаемых переходных форм, несмотря на неполноту палеонтологических документов, — преспокойно оставляются в стороне. В первом случае (для голубей) сравнительно гораздо меньшая невероятность идет в пользу теории, а во вторых случаях, гораздо сильнейшая ничего не говорит против нее; оценка делается им различная, степени вероятности и невероятности меряются разными мерками. Сообразно ли это со здравою логикой, спрашиваю я каждого беспристрастного человека?

2) Двойственность, или так сказать двуличность логики, по которой тот же факт служит Дарвину для диаметрально противоположных выводов. В одном случае данный факт имеет для него полную доказательную силу, а в другом совершенно ее лишается.

Так, когда ему нужно доказать, что все домашние породы голубей произошли от одного дикого вида, чтобы выставить в тем более ярком свете важность различий, произведенных у этой птицы искусственным подбором, он говорит: «Все домашние породы голубей весьма охотно скрещиваются между собою, и, что одинаково важно, помеси их совершенно плодовиты»¹¹; и в этом видит он сильнейшее доказательство их происхождения от одного вида.

Это свойство пород или разновидностей кажется ему столь достоверным, важным и решительным, что, как мы видели выше, на утверждение Юатта о бесплодии длиннорогого и короткорогого скота он возражает, что если бы даже это было неопровержимо доказано, то можно бы предположить, что бесплодные между собою породы произошли от двух различных видов¹². Это правило он обобщает, говоря: «Но когда мы выходим из пределов того же вида, свободному скрещиванию препятствует закон бесплодия»¹³.

Но когда Дарвину надо устранить препятствие, заключающееся в этом физиологическом различии вида от разновидности, для нужд теории он смело утверждает: «Может быть показано, что ни бесплодие, ни плодовитость не дос-

тавляют точного различия между видами и разновидностями»¹⁴.

Итак, в одно и то же время, один и тот же факт и доказателен, и не доказателен, и устанавливает различие между видами и разновидностями, и не может его устанавливать, — все, смотря по удобствам и требованиям хода доказательств теории.

В самом деле, если различия между голубями сильнейшие, какие только Дарвин мог отыскать между всеми, произведенными, по его мнению, искусственным подбором, в свою очередь служащим фундаментом здания естественного подбора, то есть всей теории, зависят не от подбора, а от первоначальных, прирожденных различий коренных диких видов, давших начало домашним породам; то ведь выдерживается фундамент из-под здания и оно рушится. Сообразно этому — признак плодовитости и бесплодия получает ту силу, которая необходима, дабы служить основанием видového единства голубей, и даже для предположительного видového различия двух пород скота (длиннорогой и короткорогой), ни по каким другим признакам этого не заслуживающих.

Но если с другой стороны тот же признак бесплодия и плодовитости устанавливает определенную грань между разновидностью и видом, грань, через которую теории невозможно было бы перешагнуть, то смело утверждается, что этот самый признак не дает точного и строгого различия между этими двумя категориями систематических групп.

Но ведь должно быть справедливо одно из двух, и тогда в обоих случаях, который ни прими, теория оказалась бы одинаково несостоятельной, — и вот признается попеременно справедливость то одного, то другого положения, взаимно исключаящих друг друга, смотря по удобствам и удобствам. Опять позволю себе спросить, строгая ли это логика? можно ли на ней основываться? и не в самом ли существенном вопросе проявляется эта нелогичность? Да и единственный ли это пример!

Не далее, как через страницу после цитированных мест из «Прирученных животных и возделываемых растений», встречаем подобный же пример логической двойственности (*duplicité*): «За исключением известных характеристических различий, главные породы голубей во всех прочих отношениях схожи между собою и с *Columba livia*». За сим перечисляются сходства в их строении, в признаках окраски, в нравах и привычках, и из этого выводится то заключение,

¹¹ Дарвин. Прирученные животные и возделанные растения. Т. I, с. 192.

¹² Там же. Т. II, с. 111.

¹³ Там же. Т. II, с. 194.

¹⁴ Darwin. Origin of species. VI ed., p. 237.

что по невозможности найти в диком состоянии сколько-нибудь значительного числа видов, «которые, сходясь между собою по привычкам и по общему строению, отличались бы весьма значительно только по немногим признакам», – нельзя предположить, чтобы родоначальником каждой из главных голубиных пород был особый самостоятельный дикий вид¹⁵.

Опять повторю: со своей стороны я с этим вполне согласен, ибо в этом и заключается золотое Линнеево правило: *Character non facit genus*¹⁶. Но вопрос в том, насколько сообразен этот вывод вообще с происхождением видов по Дарвину, которое, как мы видели, и не может быть иным, как мозаичным? Общность строения, нравов и привычек указывала бы, по Дарвинову учению, ведь лишь на то, что эти предполагаемые дикие родоначальники голубиных пород сами произошли от одного общего им всем прародительского вида, от коего и унаследовали все, что между ними есть общего; различия же свои получили путем накопленной индивидуальной изменчивости, которая для каждого из них шла в некотором особенном одностороннем направлении. Если бы эти предположительные дикие виды не вымерли, они могли бы и дальше разойтись, и в последующих поколениях (форм, а не особей, конечно) разойтись и по другим признакам. В начале же расхождения от общего прародителя дело так именно и должно было идти сообразно духу Дарвинова учения, как бы оно шло у этих предполагаемых голубиных родоначальников. Значит, Дарвин именно то, что по его учению должно происходить с возникающими видами, считает в применении к голубям недопустимым; видит в этой мозаичности достаточную причину для отвержения существования видов голубей-родоначальников наших домашних пород.

Тут опять предстояла ему дилемма: или допустить происхождение голубиных пород от диких видов с мозаическим характером, как он вообще ее принимает в других случаях, и этим отнять всякое фактическое основание у своей теории, или отвергнуть мозаичность вообще, причем – происхождение видов по его теории становится немислимим. Чтобы выйти из этой дилеммы, он опять принимает в одних случаях то, что отвергает в другом, то есть опять, вопреки логике, признает противоречивое, одно другое исключаящее.

Эту же логическую двойственность встречаем мы особенно при определении Дарвином свойств

наследственности. Мы видели, что, по его мнению, все признаки, *как новые, так и старые, одинаково стремятся к наследственной передаче*. Это мы читаем на 68 странице II-го тома «Прирученных животных и возделанных растений»; а на странице 192 I-го тома совершенно тому противное: «Если признаки эти (некоторые признаки пород домашних голубей) составляют результат постоянных изменений, накопленных подбором, то понятно, почему они изменчивы. Это именно те части, которые подверглись изменениям со времени одомашнения голубя, и, следовательно, способны изменяться еще и теперь; кроме того, *эти изменения появились еще очень недавно, накапливаясь подбором, и, следовательно, не могли еще укрепиться совершенно*.

Итак, когда нужно, новые признаки не менее постоянны, чем старые, а при других надобностях теории, недавние признаки, не успевшие долговременной наследственной передачей получить свойства устойчивости, остаются непостоянными.

3) *Обращение внимания на выгодную для теории сторону явлений и крайнее преувеличение ее, и упущение из виду стороны невыгодной*. Так, Дарвин признает и с особенною силой настаивает на том, что еще слабые изменения, в самой начальной их стадии, могут приносить обладателям их такую степень выгоды, что ею обеспечивается за ними победа в борьбе за существование (без чего ведь и вся теория рушится); но влияние столь же малых изменений в обратном смысле и направлении не замечает или не хочет признавать, когда влияние это должно говорить против его учения.

Первого нет надобности возобновлять в памяти читателя – значительная часть VIII главы была посвящена разбору Дарвиновой защиты против возражений Майварта, сделанных именно по этому предмету; что же касается до непризнания вредного влияния невыгодных сторон возникающих изменений, то и на это было указано при разборе сугубой невероятности одновременного изменения различных органов, которые должны действовать гармонично. Мы видели, что в этих случаях Дарвин прибегает к помощи того принципа, который я назвал «мозаичностью». Сначала появляется одна черта в некоторой слабой степени, затем другая, третья, столь же слабо обозначенные, и т.д., потом одна из них несколько усиливается и так же точно последовательно и прочие.

Но, как бы изменение одной черты строения ни было мало, очевидно, что отсутствие одновременности и ответственности изменений в других чертах строения, если только в отдельно-

¹⁵ Дарвин. Прирученные животные и возделанные растения. Т. I, с. 194 и 195.

¹⁶ Не признак определяет род (*лат.*).

сти каждая из них может оказывать какое-нибудь влияние на результат жизненной борьбы, – должно произвести влияние вредное. Это вредное влияние должно повести за собою поражение в борьбе за существование мозаически изменяющегося существа по тем же самым причинам, по которым Дарвин считает возможным приписать победу мало-мальски выгодному возникающему изменению. – Это представляет опять пример логической непоследовательности не в какой-либо частности, а в самом существенном пункте теории.

Но эта, так сказать, пристрастность в выводах распространяется и на выбор фактов. Так, малейшая выгода строения, инстинктов и т.п. должна доставлять победу в борьбе за существование, а малейшая невыгода вести к поражению; того же не замечается, что даже столь огромные невыгоды, как доставляемая оленям их отпадающими ветвистыми рогами, или ленточным рыбам их хрупкостью, бесполезными отростками плавников, или ни к чему не служащими иглообразными брюшными плавниками, не ведут к вытеснению их с поля жизненной битвы.

Также, на основании очень беглого, поверхностного взгляда, утверждается, что у домашних животных и растений изменяется и фиксируется именно то, что подбирается, прочее же остается мало изменчивым и не фиксированным, а оставляется без внимания, что вовсе не подбираемые, но тем не менее однако же изменившиеся и твердо установившиеся форма и окраска цветков и листовых железок у персиков – прямо этому противоречат. Это же самое относится к листьям, цветорасположению и цветам груш и ко многим признакам огородных растений.

4) *Логическая непоследовательность.* Дарвин признает справедливость некоторых сделанных ему возражений, но не изменяет соответственно им своей теории, что, впрочем, привело бы к совершенному ее отвержению:

а) Так он признает, что слишком слабо оценил значение крупных самопроизвольных изменений, признает, – но все оставляет у себя по-старому и не видит или не хочет видеть, что с этим признанием он должен отказаться от возможности объяснить внутреннюю и внешнюю целесообразность строения организмов из начал подбора; что при происхождении форм от форм скачками неизбежно принять целесообразность, или, лучше сказать, разумную предустановленность направлений, в коих идут эти переходы, что ниспровергает все его учение. Это было доказано мною во II главе при установлении необходимости постепенной изменчивости для Дарвинова учения.

б) Дарвин признает, что изменения должны обнимать собою, при самом своем возникновении, разом большое число особей, дабы эти изменения тут же не исчезли от одной числовой несоразмерности; но не видит или не хочет видеть, что этим самым изменения эти перестают быть *индивидуальными*, то есть такими, какие мы можем признать всегда происходящими, всегда имеющимися в наличности для надобностей теории, без особой определенно действующей в известном направлении причины, отражающей себя в своих следствиях и одновременно действующей на целую обширную группу особей.

Насколько первая непоследовательность противоречит постепенности изменчивости, настолько противоречит эта вторая ее неопределенности, а мы видели, что Дарвин признает эти оба свойства изменчивости существенными для своей теории, ибо только при них подбор может иметь какой-нибудь смысл и значение.

в) Дарвин признает справедливость возражения Нэгели о невозможности объяснить подбором происхождение безразличных признаков, признает также, что такие признаки часто встречаются в природе, особенно у растений; но не признает дополнительного Нэгелиева принципа совершенствования, в чем, конечно, прав.

Тем не менее, однако же, он оставляет через это без всякого объяснения очень большое число признаков, и притом самых важнейших и наиболее общих, а так как без этих чисто морфологических признаков нет, собственно говоря, ни одного органического существа: то и вообще оставляет без объяснения происхождение всех каких бы то ни было организмов, и, следовательно, в сущности отказывается от своей теории, не замечая или не желая замечать этого.

Этим признанием он так же точно отказывается от безграничности, от общей распространенности изменчивости на все признаки организмов, то есть от третьего существенного для его теории свойства ее, как двумя предыдущими признаниями отказался от постепенности и неопределенности ее.

5) *Недостаточная глубина анализа.* Объясняя происхождение разных признаков, Дарвин доводит свой анализ лишь до того предела, до куда это выгодно для его учения, но не далее. Сделав же это, то есть проведя анализ далее, он неминуемо увидел бы, что объясняет это происхождение лишь тем, что подразумевательно признает факты или явления не только с его точки зрения необъяснимые, но прямо противоречащие принципам его учения.

Таковы, например, даваемые им объяснения инстинкта кукушек, хитрого устройства орхид-

ных и проч., имеющих значение лишь исправления прежде испорченного, прежде происшедших вредных инстинктов или черт строения, которые не могут быть выведены из начал подбора.

6) *Довольствование для своих доказательств совершенно невыдержанными и недостаточными аналогиями.* Так, Дарвин принимает существование ряда переходных форм в одной группе организмов за совершенно достаточную аналогию для вывода нужных ему переходов в другой группе, не обращая внимания на различие обстоятельств, которые в одном случае действительно могли бы обусловить этот ряд переходов, но никак не в другом. Это я подробно разъяснил при разборе объяснения, даваемого Дарвином происхождению китовых усов по аналогии с роговыми пластинками клювов некоторых водных птиц и в некоторых других местах VIII главы.

7) *Постоянное смешение взаимодействия вполне образовавшихся, так сказать, готовых форм видов с формами, строениями, инстинктами в момент их возникновения.*

Как на самый общий пример укажу на выводы, делаемые Дарвином из борьбы за существование между настоящими видами, то есть формами, не способными между собою плодovито гибридизоваться, – о борьбе между видом же, с одной стороны, и только что зарождающейся разновидностью (даже собственно только с индивидуальным изменением) – с другой. Одной этой логической ошибки, состоящей в признании равным того, что далеко не равно, достаточно для ниспровержения всей теории, как это подробно разъяснено в главе IX.

8) *Неясность и нестрогость в определении и различении некоторых существенных для построения его теории понятий.*

Аналогия между тем видом искусственного подбора, который Дарвин назвал методическим, и подбором естественным, очевидно, слишком отдаленная, чтобы последний можно было установить по подобию первого. Промежуточным звеном между обоими Дарвин ставит то, что он называет искусственным бессознательным подбором. Но различие между обоими родами искусственного подбора полагает не в том, что их существенно различает, как это объяснено в разных местах VI, VII и VIII глав, и забывает, что именно в том, в чем оба вида искусственного подбора существенно разнятся от естественного подбора, они между собою сходны. Оба вида искусственного (см. оригинал) подбора более или менее полно и строго устраняют скрещивание, чего естественный подбор вовсе не делает и потому подбором вовсе и назван быть не может, так как в устранении скрещивания и заключается

вся сущность подбора, какого бы то ни было. Это его логическое определение.

9) *Увлечение началами теории до забвения смысла действительности, до упущения из виду фактов, без сомнения хорошо ему известных.*

Для защиты или подкрепления своей теории Дарвин дает иногда совершенно ни с чем не сообразные или прямо противоречащие фактам объяснения некоторых явлений. Пример первому видели мы в объяснении той пользы, которую должны приносить хвостовые гремушки гремучей змее. Многочисленные примеры второму найдем в объяснении, почему страны, населенные совершенными дикарями, будто бы не дали нам ни одного полезного растения; почему не находим в диком состоянии многих культурных растений; в утверждении, что дичающие животные и растения не возвращаются к своей первобытной типической форме; что всего только пять или шесть многолетних растений было принято в огородную культуру; что там, где животные по своему образу жизни были устранены от влияния искусственного подбора, как, например, рыбы, не произошло и пород в домашнем состоянии, разве если они содержались в небольших аквариумах или просто сосудах с водою, как китайские золотые рыбки, между тем как они-то именно содержатся в озерах и дали породы, не менее резко и сильно отклонившиеся от нормального типа породы, чем сами голуби, но процессом противоположным подбору, примененном же к ним подбора возвращаются к нормальной форме.

10) Наконец, пропуская иное, укажу на самое неправильное понимание Дарвином требований, коим должна удовлетворять всякая научная теория, что он сам категорически высказал: «Всякий, чей умственный склад заставляет приписывать большее значение необъясненным трудностям, чем объяснению известного числа фактов, конечно, отвергнет мою теорию»¹⁷, – говорит он в своей заключительной главе. Значит, Дарвин видит как бы некоторую нелогичность, придирчивость, излишнюю притязательность в требовании от теории полного объяснения всей категории явлений, которую она взялась объяснить, и как бы не признает законности такой излишней, по его мнению, требовательности; как бы ставит ее в укор своим противникам.

До сих пор все думали, что исполнение именно этого требования составляет *conditio sine qua non*¹⁸ всякой научной теории. Так думал, например, и Ньютон, отказавшийся было от своей бле-

¹⁷ Darwin. Origin of species. VI ed., p. 422, 423.

¹⁸ Непременным условием (*лат.*).

стящей и великой мысли объяснить движения небесных тел тою же причиной, которая заставляет тела падать на Землю, единственно потому, что движения Луны не подходили под это всеобъемлющее объяснение.

Но приведенное здесь место действительно выражает характер Дарвинова учения, при самой благоприятной его оценке, и, по этой устарелой научной требовательности, оно равняется сознанию, что все здравомыслящие люди, все, которые понимают значение научной логики, должны отвергнуть это учение, так как этим по собственному сознанию его творца, оно низводится на степень теории флогистона или истечения света, которые ведь также объясняли очень многие, но только не все, явления тех категорий явлений, за объяснение которых брались.

Собственно и этого еще мало. Это странное требование – довольствоваться столь малым при оценке научных теорий, равняется ведь требованию принимать без разбора почти всякую теорию, какую бы кто ни предложил; ибо, если автор ее не совсем сумасбродный человек, то теория его непременно будет объяснять *некоторое число фактов*, – *a certain number of facts*. Кто же сочинит теорию, ровно ничего не объясняющую? Из этого видно как нестроги требования Дарвина от научной теории. Если

она около да кругом что-нибудь объясняет: то этого уже должно быть достаточно для ее принятия!

Из сказанного, кажется мне, для всякого читателя, даже совершенно чуждого естествознанию, должно сделаться ясным и понятным, каким образом ученый с талантами и знаниями Дарвина мог построить совершенно ложную теорию, и ложную не потому, что вновь открылись какие-нибудь неизвестные факты, под нее не подходящие, как это, например, случилось с Ньютоновой теорией истечения света, а потому, что уже известные факты не были достаточно и беспристрастно приняты во внимание, а главное потому, что из них сделаны были выводы по недостаточно строгой логической методе.

Допущенные Дарвином логические ошибки и не могли повести к иному результату, скажем прямо и не обинуясь, потому, что знаменитый ученый был гораздо более тонкий наблюдатель, более искусный экспериментатор, остроумный комбинатор, чем строгий, отчетливый мыслитель. В этом отношении, все-таки главным, в деле науки ни он, ни сродные ему по духу и направлению Жоффруа Сент-Илер и Ламарк не могут быть поставлены в один уровень с бессмертным и великим Кювье, коему любят теперь их противопоставлять.

Внутренние причины ошибок Дарвина и необычайного успеха его учения

Я не буду здесь вдаваться в биографический и психологический этюд для объяснения того, как мог ум все-таки столь обширный и светлый как Дарвинов, впасть в столь очевидные ошибки. Общим ответом на этот вопрос будет весьма понятное ослепление при виде начинающегося, под наитием блестящей аналогии с подбором у домашних организмов, совпадения многих явлений и фактов в одну точку, из которой исходят и свет, освещающий их все, и вместе связь, соединяющая их воедино. При этом трудно не проглядеть тех докучливых преград, которые и свет этот застыт, и связь эту прерывают. Как легко принять их за неважные частности, за такие препятствия, которые так или иначе можно будет устранить или обойти! Немногим дается трезвость ума Ньютона, давшая ему силу отказаться, по счастью временно, от всеобъемлющей теории, столько осветившей и столько в связь приведшей, потому лишь, что казалось Луна в своем вращении около Земли не настолько падает на нее, как бы того требовал закон тяготения. Но и тут не должно забывать, что у Ньютона был строгий, неуклонный обличитель, с которым нельзя было вступить ни в какие сделки, – мате-

матическое вычисление, – которого у Дарвина не было; со всякими же другими обличителями, со всякими возражениями не математического характера, почти всегда возможны те или другие сделки, с ними, как по французской иронической поговорке, с Небом – *il y a des accommodations*¹⁹.

У Дарвина были к тому же особенные специальные причины к ослеплению. Теория его есть учение чисто английское, включающее в себя не только все особенности направления английского ума, но и все свойства английского духа. Практическая польза и состязательная борьба, вот две черты не только в значительной мере дающие направление английской жизни, но и английской науке. На полезности, утилитарности основана Бентамова этика²⁰, да, в сущности, и

¹⁹ Можно войти в соглашение (*фр.*).

²⁰ *Иеремия Бентам* (1748–1832) – английский философ, социолог, юрист и общественный деятель. Разработал систему этики, основанную на представлении о том, что нравственное – это практически полезное, интерпретируемое и исчисляемое как «величайшее, какое возможно счастье, для наибольшего числа людей» (утилитаризм) (*Ред.*).

Спенсера²¹ также; на войне всех против всех, настоящей борьбе за существование – Гоббсова²² теория политики; на состязании или соперничестве – экономическая теория Адама Смита, да и вся по преимуществу английская наука политической экономии. Мальтус применил тот же принцип к задаче народонаселения. Даже сама философия Бэкона есть чисто утилитарная, как это очень хорошо разъяснено в этюде Маколея²³ о Бэконе. Дарвин распространил и частную теорию Мальтуса и общую теорию политико-экономов на органический мир.

Мысль о такой зависимости характера науки – самого космополитического из направлений человеческой деятельности – от психических национальных свойств высказал я и объяснил примерами пятнадцать лет тому назад в другом моем сочинении²⁴. Не подтверждается ли она тем, мною тогда упущенным из виду обстоятельством, что не только Дарвин, но и другой, опять таки английский ученый – Уоллес – пришел совершенно независимо от него, к тому же объяснению происхождения многообразия форм органического мира?

Но не только направления английского ума, но и особенности английской жизни, как я уже заметил в начале I главы, так сказать, подсказывали Дарвину его теорию. Любительство английских садоводов и воспитателей домашних животных, ведущее к выставкам, скачкам и другим состязаниям между животными, служило главною побудительною причиной подбора растений и животных, как для практических целей, так и для удовлетворения причудливости их вкуса. После всего этого неудивительно, что, для ума столь английского всего менее могли быть заметны ошибки в учении, носящем столь английскую печать.

Наконец, тот восторг, который возбудило учение о естественном подборе при своем появлении, тот блистательный успех, который оно получило и коим до самой смерти Дарвина и до сих пор оно пользуется, могли, должны были усилить это ослепление и действительно усилили его до того, что самое признание автором спра-

ведливости некоторых сделанных ему замечаний, указывавших на его ошибки, не могло уже принудить его к существенному изменению своего учения. Таким образом, сделалось возможным совместное существование в уме Дарвина непримиримых противоречий, конечно, не иначе как так, что одна сторона этих противоречий совершенно заслоняла или заглушала другую.

Но чем же объяснить самый этот необычайный и продолжительный успех Дарвинова учения? Если указанные мною ошибки его столь очевидны, то как же их доселе не заметили? Это последнее обстоятельство было бы действительно необъяснимо, если бы существовало. Но многие из этих ошибок были замечены разными учеными, и к числу их принадлежат самые замечательные умы нашего времени из числа посвятивших себя естествознанию. Первым назову я великого натуралиста-философа (но не натурфилософа, что совершенно другое дело) Бэра; за ним замечательнейших из учеников Кювье: Агассиса²⁵ и Мильн-Эдвардса²⁶, знаменитейшего сравнительного анатома Оуэна, знаменитых палеонтологов, мнение которых имеет особенную важность в этом вопросе, Броньяра, Гёпперта, Бронна, Барранда, фитогеографа Гризебаха, ботаников Декена²⁷, Виганда, знаменитейшего из современных гистологов Кёлликера²⁸, физиолога Флуранса²⁹, зоологов Катрфажа³⁰, Бурмейстера³¹, Бланшара³². В противниках, видевших и указывавших на ошибки Дарвина, недостатка, значит, не было. Но должно сознаться, что голос их был подобен гласу, вопиющему в пустыне.

²⁵ Жан Луи Агассис (1807–1873) – американский естествоиспытатель швейцарского происхождения, зоолог и палеонтолог, последователь Ж. Кювье, антиэволюционист (Ред.).

²⁶ Анри Мильн-Эдвардс (1800–1885) – французский зоолог и естествоиспытатель, член Парижской академии наук, ученик Ж. Кювье, антиэволюционист (Ред.).

²⁷ Жозеф Декен (1807–1882) – французский ботаник (Ред.).

²⁸ Альберт фон Кёлликер (1817–1905) – швейцарский анатом, зоолог, гистолог, эмбриолог. Критик теории Ч. Дарвина (Ред.).

²⁹ Мари-Жан-Пьер Флуранс (1794–1867) – французский физиолог, сравнительный анатом и врач, член Французской академии наук (Ред.).

³⁰ Жан-Луи-Арман Катрфаж де Брео (1810–1892) – французский зоолог, эмбриолог и антрополог. Критик теории Ч. Дарвина (Ред.).

³¹ Карл Герман Конрад Бурмейстер (1807–1892) – немецкий естествоиспытатель, зоолог, географ и геолог (Ред.).

³² Шарль Эмиль Бланшар (1819–1900) – французский зоолог и энтомолог (Ред.).

²¹ Герберт Спенсер (1820–1903) – английский философ, социолог и юрист. В области этики развивал идеи, близкие к утилитаризму, отождествляя счастье с наслаждением (Ред.).

²² Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ. Разработал представление об обществе, основанное на «борьбе всех против всех» (Ред.).

²³ Томас Баббингтон Маколей (1800–1859) – английский историк, поэт и писатель, государственный деятель (Ред.).

²⁴ Данилевский. Россия и Европа. Изд. II, с. 144–146.

Чем же объяснить этот ошеломляющий успех, про который Бэр мог сказать: «Громкая молва разносится по странам Европы: тайна создания, наконец, открыта. Подобно тому, как Ньютон открыл законы движения небесных тел, так Чарльз Дарвин указал законы жизненных форм и тем совершил еще больший шаг вперед в науке, чем Исаак Ньютон»³³? Если мы не можем приписать его всепобеждающей силе истину, то имеем перед собою, по-видимому, весьма странное культурное явление! Действительно, было бы над чем задуматься, если бы история вообще и история наук в особенности не показывали нам, что временный и даже долговременный успех нимало не служат ручательством разумности явления или истинности учения; и наоборот, что очень продолжительное отсутствие успеха было часто уделом истин нравственных, эстетических и научных.

Как медленны были успехи христианства, и как быстро распространилось магометанство! Давно ли оценили критики Шекспира? и как долго длилось господство учения о трех драматических единствах! Не выходя из пределов науки, не видим ли, как быстры были успехи одностороннего нептунизма Вернера, до сих пор поднимающего еще иногда свою голову? Как поразительно и заразительно было влияние бредней немецкой натурфилософии! Если распространение их было не столь всеобщее, если они не коснулись научного движения Франции и Англии, то ведь отчасти потому, что в то время, то есть в первые десятилетия нашего века, международные сношения не были ни столь быстры, ни столь тесны, как теперь, знание иностранных языков менее распространено, так что результаты научных исследований оставались тогда долее в пределах одной национальности. Напротив того, труды Каспара Фридриха Вольфа, которого Бэр называл трагической личностью, положившие истинное начало истории развития животных, не возбудили ничего внимания, были заброшены более чем на полстолетия.

Латинская поговорка: *habent sua fata libelli*³⁴ – и несколько измененная в *habent sua fata doctrinae*³⁵, часто верно выражают как судьбу литературных произведений, так и судьбу научных теорий и даже открытий и изобретений. Для успеха необходимо появиться своевременно. Если это условие выполнено, то истинность или ложность теорий и учений оказывается уже весьма второстепенным условием успеха. Вот это-то счастье:

³³ *Baer*. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Zweiter Theil, S. 237.

³⁴ Книги имеют свою судьбу (*лат.*).

³⁵ Учение имеет свою судьбу (*лат.*).

явиться своевременно, и имело Дарвиново учение. Своевременность эта зависела, главным образом, от соединения следующих обстоятельств.

Новейшие успехи естествознания привели к тому, что строго механическое изъяснение явлений материального мира стало возможным во многих областях знания. Склонность человеческого ума подводить все под единство взгляда заставляло поклонников механического мировоззрения с нетерпением сносить невозможность подчинить ему и явления психические. На пути стояло препятствие – мир органический с его постоянными формами, видами и с не поддающейся отрицанию, очевидно, в глаза бросающейся целесообразностью, никоим образом не подводимыми под механическое объяснение.

Через это препятствие перескакивали, и именно в пятидесятых годах материалистический взгляд занял господствующее положение даже в более сильной степени, чем в конце прошлого столетия – преимущественно в Германии. У нас, где ведь привыкли думать немецкими головами, это отразилось, по свойственному подражателям преувеличению – нигилизмом, то есть последовательным, скажу даже единственно последовательным материализмом, – нигилизмом, который напрасно приписывают, каждый по своим личным антипатиям, кто затаенному крепостничеству, кто сознанию нашей политической, экономической и общественной неурядицы, кто недостаточности научного образования или даже отсутствию классического учения, – но который, как и все прочее зло наше, есть чистейший плод нашей подражательности и несамобытности. Однако, этот господствовавший материализм, с Фохтом³⁶, Мошоттом³⁷, Бюхнером³⁸ во главе, не мог не сознавать хотя бы смутно, что он, материализм, не *по*, а *вопреки* положительным данным науки, как я уже это заметил во «Введении».

И вдруг, совершенно неожиданно, является учение, которое срывает завесу с таинственной области органического мира, разрешает то внутреннее противоречие, которым страдало материалистическое мировоззрение, и разрешает его именно в сторону материализма. Я говорю, является совершенно неожиданно, потому что ввиду

³⁶ *Карл Фохт* (1817–1895) – немецкий естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, врач, один из главных идеологов так называемого «вульгарного» материализма. Горячий поклонник теории Ч. Дарвина (*Ред.*).

³⁷ *Якоб Мошотт* (1822–1893) – итальянский физиолог и философ, представитель «вульгарного» материализма (*Ред.*).

³⁸ *Людвиг Бюхнер* (1824–1899) – немецкий врач, естествоиспытатель и философ, один из главных теоретиков «вульгарного» материализма (*Ред.*).

непреборимой трудности задачи, предлагаемой происхождением многообразия органического мира с целесообразностью его, и в виду явной несостоятельности попыток, направленных к объяснению его в начале нынешнего столетия Жоффруа Сент-Илером и Ламарком, в эту сторону даже вовсе и не были обращены зоологические и ботанические исследования.

Правда, решение задачи вовсе не соответствовало строгим требованиям от механической теории. Я уже говорил об этом предмете, поясню его еще самыми простыми примерами. Отделяющаяся небольшая часть жидкости, свободно падая, принимает форму капли, то есть маленького шарика. Но если притягательная сила свойственна малейшим частичкам материи, если она распространяется во все стороны равномерно, то находящееся только под ее исключительным влиянием внутренне удобоподвижное вещество не может принять иной формы, как шара, дабы прийти в состояние внутреннего равновесия. Если на каплю будет действовать притягательная сила Земли, и если она несколько значительного размера, дабы оказалось некоторое ощутительное различие в действии тяжести на обращенную к Земле и отвращенную от нее сторону капли, то она примет форму сфероида, удлинённого в направлении и в сторону Земли.

Если эта свободно висящая капля будет быстро вращаться около какой-либо оси, то сплюснется у полюсов вращения и раздуется по экватору, ибо вследствие центробежной силы, – результата вращения, – противодействующей сцеплению частичек капли, это последнее ослабнет всего более у быстрее вращающегося экватора. Если такая капля или вообще шар будет вращаться в пространстве около какого-нибудь тела, продолжая вращаться и около своей оси, то эта ось сохранит свое направление, то есть будет во всех положениях шара параллельна самой себе, если нет особой причины, которая изменяла бы это направление.

Все эти объяснения будут вполне механическими, но только эти и подобные им. Но есть ли малейшая аналогия между такими объяснениями и теми, которые предлагает Дарвин для происхождения форм органического мира? Выводятся ли им эти формы необходимым и ясным для ума образом из каких-нибудь, хотя бы только гипотетических, свойств первобытного организма, или немногих первобытных организмов, принимаемые за созданные, – как в приведенном примере выводятся формы капли и ее изменений из свойств притягательной силы, внутри капли и извне ее действующей? А только в таком или подобном случае могли бы мы признать Дарвиново объяснение за механическое.

Конечно, ничего подобного Дарвин не сделал, и даже сделать не мог, и не пытался сделать, ибо для всякого, имеющего сколько-нибудь отчетливое понятие о том, что такое организм и что такое органическая форма, должно быть ясно, что возможность их механического объяснения даже и не предвидится. Чему же после этого так обрадовались материалисты или приверженцы исключительно механического мировоззрения?

Тому, что если невозможно приписать многообразия органических форм прямому и непосредственному воздействию внешних условий, как полагал Жоффруа Сент-Илер, или влиянию постепенно изменяющихся привычек, как думал Ламарк, в невозможности чего все были убеждены; то единственный путь для объяснения целесообразности и гармонии органического мира и самого происхождения видов, не прибегая к предустановленной целесообразности, заключался в принципе случайности изредка могущих происходить благоприятных изменений и в совпадении бесцельных и неопределенных изменений, как между собою, так и с внешними условиями.

Где немислима была строгая механическая необходимость, там являлась случайность единственно возможным подспорьем или заместителем ее, если материалистическое или механическое мировоззрение должно было удержаться без непоследовательности. Это новое, проведенное Дарвином через всю область живой природы начало случайности, конечно, не могло иметь одинаковой цены со строгим началом механической необходимости; но можно ли было быть слишком взыскательным, когда новым учением громко вопиющее противоречие органического мира с механическим мировоззрением все-таки устранялось, потому что устранялась необходимость признавать ненавистную целесообразность, не в результате, конечно, где не признавать ее нет возможности, не становясь в противоречие с фактами, но в причине ее, что очевидно требует признания идеального начала, как бы мы, впрочем, его себе ни представляли, как сознательное или бессознательное, как личное или имманентное миру.

С другой стороны, философские учения, возникшие в Германии в первые десятилетия нынешнего столетия, хотя и потеряли свою власть над умами естествоиспытателей и образованной публики вообще, твердо однако укоренились в умах идею развития, как непреложный закон всего сущего. Всякое бытие, *Sein*, находило свое объяснение в становлении, *Werden*, что и составляет господствующую мысль современного естествознания, под именем теории эволюции. Установленное, или лучше сказать, вновь подкреп-

ленное и утвержденное Кювье учение о постоянстве видов, как эмпирически доказанное фактами, находилось, по-видимому, в сильном противоречии с этим мировоззрением, и потому, хотя оно и всеми признавалось, но мириться с ним было тяжело умам, настроенным в этом духе и направлении.

Образчик этого видим мы в радости и торжестве Гёте при вести о мнимой победе Жоффруа Сент-Илера над Кювье в их знаменитом споре в Парижской Академии наук, хотя на деле не Кювье, а его противник был разбит наголову. Появление Дарвинова учения, ниспровергающего сильными, по-видимому, доводами это учение о постоянстве видов, должно было, следовательно, у поклонников (в сущности верной) идеи развития возбудить тот же восторг, как напрасная и преждевременная радость Гёте, одного из родоначальников этой идеи, – тот же восторг, как и у приверженцев исключительно механического мировоззрения, хотя и по другим совершенно причинам. Но и они, подобно этим последним, были снисходительны и не слишком требовательны в пылу своего восторга, который и их заставил посмотреть, что Дарвиново учение столь же мало имеет права быть причисленным к учениям эволюционным, как и к учениям механическим.

Но за неимением другого сколько-нибудь логически проведенного и на фактах основанного учения развития, в применении к происхождению животных и растительных форм, приходилось довольствоваться и этим суррогатом его, невзирая на то, что с настоящим развитием имеет оно только то общего, что в обеих формы организмов не принимаются за постоянные и неизменные. Таким образом, и по отношению к приверженцам механического мировоззрения, и по отношению к эволюционистам, оправдался афоризм: *чего хочется, тому верится*, который и в области чистого знания имеет нередко такое же применение, как и в ежедневной практической жизни.

Но кроме этой своевременности Дарвинова учения, его совпадения с стремлениями, желаниями, тенденциями не только ученого мира, но и вообще с тем, что называется духом времени, оно имело еще и общую привлекательность, в особенности для массы образованных людей, своею удивительною понятностью и, так сказать, прозрачною ясностью. Читая самого Дарвина или изложение его учения каждый чувствовал, что это и его уму понятно, и его познаниям подручно, и естественно чувствовал себя польщенным, что и он вводится в святую святых науки, в сокровеннейшие и глубочайшие тайники ее, и

говорил себе, что таково свойство гения, тогда как педантизм посредственности представлял это дело столь недоступным. Учение было доведено до компетенции простого здравого смысла, и всякий действительно чувствовал себя компетентным в нем судьбою. В этом смысле учение Дарвина было вполне учением демократическим и это не могло не иметь огромной, так сказать, обольстительной силы.

В самом деле, что может быть, по-видимому, яснее, проще и понятнее основных положений Дарвина.

– Происходят ли у всех окружающих нас животных и растений, да и в нас самих, индивидуальные различия, несходства с родителями?

– Происходят без малейшего сомнения!

– Могут ли эти индивидуальные различия иметь иногда, в каком-либо отношении, выгодную сторону в жизни?

– Конечно, нельзя усмотреть, почему бы этого не могло иногда случаться!

– Размножаются ли организмы в геометрической прогрессии, и следовательно, не только все они в совокупности, но и каждый из них отдельно, не должен ли бы в сравнительно короткое время наполнить и переполнить Землю?

– Утвердительный ответ на это дает решение очень простой арифметической задачи!

– В таком случае, не должны ли организмы взаимно вытеснять друг друга?

– Не иначе как так!

– Не должны ли после этого малейшие выгоды давать несколько большие шансы к победе при такой борьбе?

– В этом и сомневаться невозможно!

– Но если это так, то переживание пригоднейших не оказывается ли неизбежным результатом предыдущих посылок?

– Не вижу возможности избежать этого заключения!

– Ну, а это ведь и есть естественный подбор, не только удовлетворительным, но необходимым образом объясняющий происхождение всех разнообразных органических форм, населяющих Землю!

Вот эти-то немногие простейшие умозаключения, этот, по-видимому, неопровержимый ряд силлогизмов и определяли убеждения большинства.

Я не могу забыть одного практически очень умного человека, с серьезным направлением, но не получившего ни естественноисторического, ни вообще какого бы то ни было научного образования. Любимым чтением его были популярные книги по физическим и естественным наукам. Доверяя своему пониманию, веря в свой ум,

всегда приводивший его к самым лучшим результатам в практической жизни, он любил глумиться над световой теорией волнений³⁹, непредставимость которой казалась ему несомненным признаком того, что тут у ученых, как говорится, ум за разум зашел. Но учение Дарвина приводило его в совершенный восторг – возражений он и слушать не хотел.

Но эта обольстительная сторона теории для массы более или менее образованной публики, которую немцы называют несколько презрительным словом *die Laien*⁴⁰, эта простота, ясность и понятность должны были иметь и имели обаятельную силу и для самих ученых, независимо от их механических или эволюционных воззрений. Они видели в этом одно из отличительных, характеристических свойств всякой истинной общей научной теории. Сколь это ни кажется законным и основательным, я осмелюсь, однако же, высказать парадокс, что в применении к морфологическим явлениям, по крайней мере, это не только совершенно несправедливо, но что именно эта прозрачная ясность и элементарная понятность теории составляют весьма невыгодные для нее симптомы, заставляющие предполагать в ней, именно по этим ее свойствам, полное отсутствие объективной истинности.

Для доказательства этого кажущегося парадокса стоит только сделать сравнительный анализ филогенетического учения Дарвина о происхождении друг от друга органических форм: видов, родов, семейств и проч. с онтологическим учением о происхождении, то есть об истории развития органического индивидуума в отдельности.

1) Филогенетическая теория представляет нам полнейшее отсутствие фактического материала, ибо мы ведь не имеем ни одного данного для перехода вида в вид; процесс, коим это происходит, фактически нам совершенно неизвестен.

2) Сообразно не только с этим отсутствием фактов, но и с самым смыслом теории, оказывается полнейшее отсутствие всякой закономерности в этом процессе, что как мы видели из многих выписок, положительнейшим образом высказывается самим Дарвином. Для недостаточно убежденных в этом приведу еще одну цитату. «Эти различные факты (постоянное появление все новых и новых видов в геологические эпохи) хорошо согласуются с нашею теориею, которая не заключает в себе никакого определенного закона развития, который заставлял бы всех обитателей известной области изменяться внезапно,

или совместно, или в одинаковой степени. Процесс изменения должен быть медлен и вообще обнимать собою немного видов в то же самое время, потому что *изменчивость каждого вида независима от изменчивости всех прочих*»⁴¹. Все дело идет, следовательно, в разброд, без всякой определенной последовательности в том же виде и без всякой взаимной связи у различных видов.

3) Но взамен всего этого является совершеннейшая понятность и прозрачайшая ясность всего процесса. Правда, и тут оказывается некоторая запинка. Мы не хорошо понимаем, каким образом раз возникшее изменение передается потомству. Наследственность есть дело совершенно непостижимое, и впоследствии мы увидим, что Дарвинова гипотеза пангенезиса этого мрака нимало не рассеивает. Но ведь филогенетическая теория берется объяснить нам собственно только различия между организмами, а никак не сходства и не тождества между ними; – это дело онтогенезиса. Что же касается до различий, до происхождения первых элементарных зачатков этих различий, проявляющихся в индивидуальных особенностях, то они совершенно понятны.

Если две статуи выливаются в одну форму, если две фотографии снимаются с того же предмета, даже если два позитива отпечатываются Солнцем с того же негатива⁴², то ведь и они не абсолютно тождественны между собою, что достаточно уже доказывается тем, что, когда нам предлагают на выбор несколько фотографических карточек – копий с того же негатива, мы тщательно их рассматриваем и выбираем лучшую. Могут ли, следовательно, два растения, выросшие из семян того же плода, или два животных того же помета быть тождественными между собою, не представлять индивидуальных различий? Когда мы не замечаем их (конечно не по их отсутствию, а по их малости), то удивляемся такому необычайному сходству, как исключительному, редкому феномену. Причина этих различий очень ясна, и останавливаться на ней нечего, а все затруднение заключается в объяснении не мелких различий, а преобладающего сходства особей в видах и разновидностях. Но объяснить это сходство наследственностью, как я уже сказал, дело онтогении, а не филогении. Она нашла свой элементарный и вполне понятный факт и на нем возводит свою теорию.

Посмотрим теперь на онтогенезис.

⁴¹ Darwin. Origin of species. VI ed., p. 291.

⁴² Речь идет об одном из архаичных методов получения фотоизображений, при котором стеклянный негатив накладывался на светочувствительный материал и экспонировался на Солнце (Ред.).

³⁹ Волновой теорией света (Ред.).

⁴⁰ Миряне, профаны, дилетанты (нем.).

1) Тут уже нет недостатка в фактах и в наблюдениях. Тут полная возможность уменьшить промежутки между двумя последовательными формами развития до желаемого минимума. И действительно фактических данных о развитии существ различных групп животных накоплено множество.

2) Эти факты не остались в раздельности, без взаимной связи. В ходе развития найдена строжайшая закономерность и притом двоякая: и в строгой последовательности явлений в развитии того же существа, и в связи, открывающейся в ходе развития существ, принадлежащих к разным группам. С тех пор, как закономерность эта была указана Бэр, положившим тем начало новой науки, сравнительной эмбриологии, открытые им законы все подтверждаются увеличивающимся числом наблюдений над животными разных групп.

Эта закономерность хода развития в животных разных групп проявляется в том, что оно идет, так сказать, логическим дедуктивным путем от общего к частному и частнейшему. Сначала появляется характер типа, ибо в начале развития можно только сказать, что развивающийся зародыш принадлежит, например, позвоночному вообще; затем появляются признаки класса, далее порядка, семейства, рода, вида и наконец индивидуума, ибо, как это всякому известно, новорожденные младенцы гораздо похожее друг на друга, чем имеющие из них выйти взрослые люди. Эти младенцы суть так сказать еще только люди вообще, общечеловеки именно по неоконченной, недостаточной еще их развитости. Даже расовые признаки в них еще не обнаружались, ибо негры рождаются еще белыми.

Бэр в особенности настаивает на том, что животные не проходят в фазисах своего развития через формы низших животных, а только последовательно принимают общие, так сказать отвлеченные характеры систематических групп, начиная с более общих и доходя до более частных, пока не явятся вполне конкретными индивидуумами. И это не какое-нибудь личное мнение Бэра, а столь общепризнанный научный факт, что я считаю даже излишним подкреплять его цитатами из разных авторитетных ученых, факт, который вполне признает и Дарвин, и приводит в подкрепление его цитату из Бэра о том, что два зародыша в спирту, этикетки которых были потеряны, оказались столь неотличимыми друг от друга, что он не знал к какому классу позвоночных их отнести⁴³.

3) Но, несмотря на все это, в сущности же благодаря всему этому, онтогенетический процесс

есть процесс совершенно темный и непонятный; ни малейшего проблеска причинности мы тут не видим. И если где, то здесь совершенно у места скептицизм Юма⁴⁴, утверждавшего, что мы знаем только предыдущее и последующее, но не имеем никакого права считать первое за причину, а второе за следствие; что причинной связи явлений мы вовсе не видим.

Я весьма далек от того, чтобы принимать это мнение Юма за справедливое вообще, а утверждаю только, что к явлениям истории развития оно вполне применимо, то есть, что тут явления остаются для нас на степени только неизменно предыдущего и неизменно последующего, без всякой возможности отыскать между ними причинную связь, а следовательно, и остаются для нас вполне непонятными. Но пусть сам Бэр, авторитетнейший в этом деле человек, говорит за меня: «Но предрассудок, и я не могу с достаточной силою на этом настаивать, если полагают, что при процессе развития нам открываются необходимые деятельности, то, *почему* происходят явления (*das Wodurch des Entstehens*). Напротив того, легко познаваемо только их *для чего*, а не их *почему*. Если мы вернемся к прежде сказанному о процессе деления (проборождения) желтка⁴⁵, то мы только видим, что первоначаль-

⁴⁴ Дэвид Юм (1711–1776) – шотландский философ, один из идейных предтеч И. Канта. Учил, в частности, что единственным источником познания является опыт, который, однако, ничего не говорит нам об объективном мире, то есть мире помимо наших восприятий. Познание относится лишь к содержанию нашего сознания. Источник наших восприятий – непознаваем (*Ред.*).

⁴⁵ Сказано же об этом следующее, что мы здесь приводим для читателей, совершенно незнакомых с естественными науками, дабы они сами могли с очевидностью усмотреть всю невозможность причинного объяснения первых (также точно впрочем, как и последующих) шагов развития: «Первые процессы в курином яйце не излагаются, потому что их трудно распознать. Но их можно уже заметить невооруженным глазом в другом, очень обыкновенном яйце, именно в яйце лягушки. Если со вниманием рассматривать такое яйцо вскоре после оплодотворения, то окажется на нем надраз, который сначала разделяет яйцо на два равных полушария, затем другой надраз, который опять делит полушария, так что он перекрещивает первый; затем каждый из этих квадратов также разделяется, и образуется восемь частей. Каждая из этих восьмых долей еще подразделяется, и так продолжается это, пока частей сделается столько, что их нельзя более сосчитать и отличить одну от другой. Яйцо, получившее при процессе деления вид шелковичной ягоды, становится при дальнейшем продолжении деления снова совершенно гладким, и затем после некоторого времени поднимаются два валика (*Wülste*),

⁴³ Darwin. Origin of species. VI ed., p. 387, 388.

ная ячейка, которую представляет каждое яйцо, все более и более делится на отдельные ячейки, пока они станут бесчисленными. Для чего этого явления легко узнать: зародыш начинает свое развитие бесчисленными ячейками. Почему, чем, то есть, какими физическими средствами производится это деление, никто не сумеет сказать. Так же точно, легко узнать, для чего умножаются слои ячеек в стороне образующейся спины и для чего приподнимаются тут две складки или два валика; но почему, или точнее, какими физическими средствами» (и побуждениями, казалось бы мне, надо прибавить) «это производится никто сказать не может. Но однако же усматривается, что эти процессы, как и все последующие, ведут к решению задачи: образовать животное. Что эти процессы совершаются силами природы, должны мы, конечно, предположить, потому что образование организмов не может же основываться на волшебстве. Но убеждение это основывается доселе не на наблюдениях, а собственно на веровании; целестремительность же в этой области – на наблюдениях»⁴⁶.

Вот, значит, до какой степени процесс этот непонятен, до какой степени он вне всякого причинного, каузального объяснения, которое ведь одно только и придает явлению ясность и понятность; Бэр счел возможным сказать, что причинность эта так темна, что собственно мы принимаем ее лишь на веру, но что положительная эмпирическая научная метода вовсе даже и не ведет к тому заключению, что процесс развития

подвигающиеся друг к другу, срстаются один с другим, и из их внутренних стенок образуется спинной и головной мозг. Вообще до сих пор процесс тот же, что и у птиц, только головной конец не столь сильно локтеобразно загнут (geknikt). Что же касается до этого первоначального деления, то оно приблизительно обще в животном царстве. Только в яйце птиц происходит оно лишь в зародыше (Keim). Вообще существует правило, что где запас желтка, как первого питательного вещества, велик сравнительно с собственно зародышной частью, там деление это распространяется лишь на нее, где же количество желтка меньше, участвует и он в делении» (Baer. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Zweiter Theil, S. 200–202). Далее на 203 странице он прибавляет: «Во всяком случае, кажется, что в этом продолжающемся делении заключаются приготовления вещества к общему построению индивидуума. Я прежде заметил, что образование так происходит, как если бы, по видимому, сознательный архитектор им руководил. В этих первых моментах видно даже, что он и вещество подготавливает, прежде чем зачаток индивидуума, так сказать, создал фундамент строению».

⁴⁶ Baer. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Zweiter Theil, S. 233, 234.

есть процесс естественный, а не какое-нибудь волшебство. Из этого конечно не следует, да и Бэр не имел этого в мысли, чтобы такое наше убеждение было менее основательно от того, что оно не эмпирически получено; но из этого очевидно следует, что причинности этого процесса мы не видим, что он для нас есть процесс вполне темный и непонятный.

Итак, для филогенезиса: *отсутствие фактического знания, отсутствие всякой закономерности*, но зато *полная понятность и прозрачайшая ясность*; для онтогенезиса: *изобилие фактов, двухсторонняя закономерность, но совершенная непонятность, темнота процесса*. Не предстоит ли нам заключить из этого, что два первые свойства этих рядов именно и составляют причину третьего свойства в обоих, и что, следовательно, ясность и понятность Дарвинова филогенезиса собственно и зависят от отсутствия всяких объективных данных при построении теории подбора; что понятность и ясность ее следует искать в той свободе, которую имел Дарвин построить учение совершенно субъективного характера, ничем объективным фактическим не стесняемое?

Ведь учение такого характера неясным, непонятным и быть не может, если автор его вообще разумный человек. В самом деле, возможно ли представить чему-либо объяснение, при такой свободе, с притязанием на сколько-нибудь научный характер, если оно в общих чертах, по крайней мере, как те, которые я представил в моем предположенном разговоре, не будет ясно и понятно? Иначе ведь и объяснения никакого не выйдет: факт, объективное явление могут быть и слишком часто бывают очень темны и непонятны, так как они нечто данное, от нас независимое, за свойства которого мы поэтому и не отвечаем; но объяснение, учение, теория, фактами не стесняемые, как и отчего могут они быть непонятными и неясными?

Этот мой вывод получит еще новую силу, если обратимся к истории эмбриологии. За сто лет до появления Дарвинова сочинения о происхождении видов⁴⁷, учение о развитии животных обледало как раз теми же свойствами, коими отличается Дарвинов филогенезис:

1) оно было лишено почти всякой фактической основы; знания фактов, относящихся до сего предмета, почти не было никакого;

2) также не проявлялось и никакой закономерности в тех немногих отрывочных наблюде-

⁴⁷ Знаменитое Origin of Species было издано, как известно, в 1859 году, а книга Каспара Фридриха Вольфа, положившая начало современному учению о развитии животных, как раз за 100 лет перед тем, в 1759 году.

ниях, которые тогда имелись, до того, например, что еще гораздо после Вольфа, до самого Бэра, развитие птиц и других яйцеродных представляли себе совершенно особым процессом от процесса развития млекопитающих. Первые и по тогдашним понятиям развивались из яйца, последние же – от смешения двух жидкостей, мужской и женской. Несмотря на открытие семянных телец, над их ролью при оплодотворении смеялись и глумились, и до самого Спалланцани⁴⁸ признавали таинственную *auga seminalis*⁴⁹ и т.п. О каких-нибудь общих законах развития, конечно, не могло быть и речи. Но зато

3) этот процесс развития, ставший столь темным и непонятным после накопления обильного фактического материала и открытия в нем строгой закономерности, был тогда, то есть считался совершенно понятным, ясным и прозрачным, как хрусталь. Бонне⁵⁰, никакими фактами не стесняемый и чувствуя единственную обязанность представить понятную и ясную для ума гипотезу, установил учение предсуществования зародышей, сущность которого так хорошо выражается французским его названием *théorie de l'emboitement des germes*, или немецким *Ein-schachtelung der Keime*. Что по-русски приходится перевести гораздо менее обозначительным выражением *включения зародышей*. Предполагалось, что первое существо каждого вида заключало в себе уже готовые зародыши всех своих непосредственных потомков, эти зародыши потомков первого поколения – все зародыши потомков второго поколения, то есть внучатных, эти последние – зародыши третьего поколения, то есть правнучатых и т.д. до бесконечности, или до вымирания вида.

Зародыши эти должны были лежать друг в друге как пасхальные деревянные яйца, вложенные одно в другое. Когда наступит время, то есть явятся необходимые для развития условия, этим готовым уже зародышам ничего более не остается, как расти, чтобы повторить формы и размеры

их предков: «Зародыши представляли только в миниатюре образ того, чем они должны были быть впоследствии: они обладали уже всеми частями, которые будут после иметь, и ходом эмбриологического развития части эти только растут и резче обозначаются»⁵¹.

Гипотеза эта представляет уму совершеннейшую понятность и ясность, которая в свое время так обольстительно действовала, что даже такой величайший натуралист, как Кювье «считал, что этот взгляд на тайну размножения живых существ предпочтительнее всякого другого»⁵².

Итак, что же мы видим? И тут *отсутствие фактов и всякой закономерности*, если не принципиальной, как у Дарвина, то реальной, фактической, предоставляют полную свободу умозрению, которое и производит на свет *гипотезу вполне ясную и понятную*, но которая вовсе не выражает собою объективной истины, а только объяснение совершенно субъективного характера, которое по этому самому и не могло не быть совершенно ясным и понятным.

Но какое же значение могут иметь ясность и понятность такого рода? Не служат ли они скорее признаком, симптомом фактической бессодержательности, а потому и ошибочности теории, то есть несоответственности ее фактическому, объективному порядку вещей природы, чем критериям ее истинности? Такая понятность и прозрачная ясность морфологической теории свидетельствуют только об остроумии их авторов.

Показав ошибочность оснований и выводов теории, разобрав те логические ошибки, в которые так часто впадал ее автор и которые не могли не повести к ложным выводам, объяснив причины и его ослепления, и блистательного успеха учения, подведем теперь общие итоги всему моему критическому исследованию.

Эти общие окончательные выводы должны быть разделены на две категории, по двум точкам зрения, с которых можно смотреть на дарвинизм.

Общее заключение о Дарвиновом учении с положительно-научной точки зрения

С точки зрения положительной науки, то есть науки, основывающейся на положительной методе опыта и наблюдений и только на них строящей свои выводы, только из них выводя-

щей свои обобщения, должно признать Дарвиново учение неудовлетворяющим тем обоим существенным условиям, исполнения коих мы вправе и в обязанности требовать от всякой научной

⁴⁸ Ладзаро Спалланцани (1729–1799) – итальянский естествоиспытатель, ботаник, зоолог, физик. Одним из первых представил доказательства невозможности самозарождения организмов (*Ред.*).

⁴⁹ Семенной ветер (*лат.*).

⁵⁰ Шарль Бонне (1720–1793) – швейцарский натуралист и философ (*Ред.*).

⁵¹ *Milne-Edwards. Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée. T. VIII, p. 385.*

⁵² Там же, с. 247. В подтверждение этого Мильн-Эдвардс говорит в примечании: «и я часто слышал, как Кювье выражался об этом предмете в разговоре, и мнение его было записано (*recueillie*) его сотрудником Лорильяром».

теории, а именно: во-первых, чтобы те факты и явления, которые теория берется объяснить, были действительно существующими фактами и явлениями, констатированными, как таковые, опытом или наблюдением, а не более или менее вероятными предположениями для надобностей теории; во-вторых, и это уже само собой разумеется, чтобы даваемое ею объяснение было возможным, мыслимым, не противоречащим ни несомненным эмпирическим данным, ни основным требованиям логики и притом объясняющим весь разряд явлений, имеющий подойти под объяснение.

Но, во-первых, я утверждаю, что Дарвиново учение лишено самого объекта объяснения. В самом деле, я спрашиваю, что берется объяснить Дарвиново учение? где объект этого объяснения? Как что? как где? – воскликнут, конечно, многие: а происхождение органических форм – видов, как это крупными буквами напечатано в заглавии книги: *The origin of species!* Но происхождение видов есть явление весьма сложное, которое так-таки прямо во всей своей сложности и запутанности никакому объяснению подлежать не может. Чтобы только приступить к нему, необходимы некоторые общие факты, черты органического мира, которые именно и должны подлежать специальному объяснению, для того чтобы через их объяснение – объяснилось и общее явление разнообразия органических форм.

Чтобы яснее выразить мою мысль, в общности ее может быть не довольно ясную, возьму положительный пример, на анализе которого и выясню ее. Что объяснил Ньютон своею теориею тяготения? Скажут движение небесных тел вообще. Но дать этого объяснения он не мог, потому что многие из них были ему даже совершенно неизвестны, как, например, движение двойных звезд. Собственно он дал объяснение только движениям тел Солнечной системы, но объяснение его оказалось столь верным и многообъемлющим, что под него подвелись и те явления небесные, которые ему даже были неизвестны.

Во-вторых, и это главное, как ни велика заслуга Ньютона, приписать ему одному полное объяснение даже движений одной Солнечной системы было бы слишком много. Явления эти были сначала объяснены наблюдениями и теоретическими выводами древних астрономов, которые распутали сложность видимых движений планет, происходящую вследствие суточного и годового движения Земли и собственного движения планет. Хотя объяснение, данное ими, и было неверно, но все-таки первый шаг они к нему сделали, распутав эту сложную видимость. Затем объяснил их Коперник, поставив каждое

небесное тело на подобающее ему место. Затем объяснение это весьма далеко подвинул Кеплер, открыв свои бессмертные эмпирические законы движения планет, то есть самые общие факты, неизменно и постоянно проявляющиеся во всех этих движениях.

И вот эти-то три самых общих факта, три Кеплерова закона, как их называют, прямо и непосредственно собственно только и объяснил Ньютон, возведя их к их объяснительной причине, и тем завершил этот ряд объяснений, почему только и можно сказать, что он объяснил движение небесных тел вообще.

Действие открытой, или точнее будет сказать, предположенной Ньютоном причины само по себе совершенно рационально и понятно. Если притяжение есть свойство каждой частички материи, то, конечно, оно должно быть пропорционально их сумме; если оно распространяется равномерно во все стороны, если при этом ничто не задерживает его распространения или не изменяет его в какую-либо другую не притягательную, а как-нибудь иначе проявляющуюся деятельность, то при двойной, тройной и т.д. поверхности сферы его распространения, на каждую единицу пространства, на которое оно, так сказать, падает, должно прийти вчетверо, вдевтерю и т.д. меньшее количество этой силы, ибо поверхности сфер увеличиваются (или уменьшаются) как квадраты их радиусов.

Объяснение это, следовательно, вполне рационально и понятно; так должно быть по логическим требованиям нашего ума. Однако же представим себе, что Кеплеровых законов не существовало бы, что планеты и кометы двигались бы какими-нибудь иными путями, а не кривыми, происходящими от сечения конуса, что площади, описываемые в равные времена радиусом-вектором какой-либо из них, не были бы равны между собою. Во что обратился бы тогда Ньютон закон? Не более как в остроумное предположение, которому действительность не соответствовала бы. Известно, что неверное измерение Земли действительно и заставило было Ньютона признать свое объяснение именно за такую остроумную гипотезу, действительности не соответствующую.

Или еще лучше, пусть все это остается так, как есть; но пусть Ньютону Кеплеровы законы были бы неизвестны; пусть он стоял бы перед небесными явлениями с такими же знаниями, как халдейские пастухи, наблюдавшие течение звезд; и пусть пришла бы ему блистательная мысль, что материи свойственна притягательная сила, действующая равномерно во все стороны: то и пропорциональность массам и обратная пропорцио-

нальность квадратам расстояний были бы этим даны; но что объясняла бы собою эта притягательная сила и какое научное значение могло бы быть придано этой гипотезе тогдашнюю положительную наукой, если бы она тогда уже существовала? Никакого, не только тогда, но до самого времени открытия Кеплеровых законов, которые одни только и доставили материал, объект, подлежащий объяснению.

Применим теперь это к Дарвинову учению. Очевидно, что естественная система, как она была выработана предшествовавшими ему ботаниками и зоологами, составляла необходимое основание его теории. Имей он в своем распоряжении только искусственные системы, или не имей он никакой системы, а только разрозненные зоологические и ботанические факты, конечно, он не мог бы построить своей теории.

Но естественная система животного и растительного царства, в том виде, в каком она нам в действительности известна, объяснению, данному Дарвином, ведь не подлежит, не поддается. Чтобы она ему подлежала и поддавалась, необходимо еще нечто совершенно иное, необходимы не только группировка форм, не только иерархическое соподчинение их в группы все большей и большей общности и большего значения, соответственно с целым характером животных и растений; но еще чтобы между формами и между группами существовали переходы, переливающиеся совершенно незаметными оттенками. Происхождение такого рода оттенков или нечувствительных степеней различия Дарвиново учение, хорошо ли дурно ли, но все таки объясняло бы.

Но этих оттенков, этих нечувствительных степеней различий ни в живой органической природе, ни в ископаемых остатках ее нет, или, по крайней мере, мы их не находим, не видим; нам они не известны, как это подробно показано в XII главе. Поэтому, сам общий факт, который Дарвин *взялся объяснить, должен был он предположить*, так сказать, навязать природе в угоду своей гипотезе. Посему само Дарвиново объяснение, то есть естественный подбор, если бы и было столь же рационально, столь же сообразно с логическими требованиями нашего ума, как Ньютонов закон тяготения, тем не менее, должно бы было быть отвергнуто, придерживаясь начал положительной научной методы.

Вот почему Виганд имел полное право озглавить свое опровержение Дарвинова учения: *Дарвинизм и естествоиспытание Ньютона и Кювье* (*Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers*), противопоставив их одно другому; имел право потому, что начала этих корифеев естествознания диаметрально противо-

положны началам, коими позволил себе руководствоваться Дарвин. Одним словом, Дарвиново учение, с точки зрения положительной научной методы, ложно уже потому, что не существует того предмета, того объекта, который оно берется объяснять. Ему недостает объективного основания.

Во-вторых, я утверждаю, что и само объяснение, данное Дарвином, не может считаться разумным, сообразным с логическими требованиями нашего ума, в противоположность, например, Ньютонову объяснению, которое оставалось бы вполне рациональным и логически правильным следствием раз принятого предположения притягательной силы, свойственной каждой частичке материи, при совершенной равномерности ее распространения, если бы этому объяснению не доставало даже объективного основания (Кеплеровых законов).

Я доказал в VIII и IX главах всю невозможность естественного подбора уже из одного отсутствия аналогии между ним и подбором искусственным (если даже и допустить всю приписываемую Дарвином этому последнему действительность, которой он не имеет, как доказано в VI главе).

В опровержение Дарвинова учения можно на основании выше доказанного построить следующий совершенно неопровержимый силлогизм. *Подбор существенно заключается в более или менее полном устранении скрещиваний, не соответствующих сознаваемой или несознаваемой цели изменения организма, и ни в чем ином, как именно в устранении его.* И я вызываю кого угодно опровергнуть это положение, составляющее мою первую посылку.

Борьба за существование никоим образом и ни в какой степени скрещивания не устраняет, и Дарвин нигде не показал, что должна устраняться, как и чем должно быть устраняемо скрещивание в природе. И я опять вызываю кого угодно опровергнуть и это положение, составляющее мою вторую посылку.

Следовательно, в природе и нет никакого подбора, и я опять вызываю кого угодно доказать неверность этого заключения из двух предыдущих посылок. А из этого явствует, что так называемый естественный подбор не реальный природный деятель или фактор, а не более как фантазм, мозговой призрак – *ein Hirngespinnst*, как очень живописно и выразительно говорят немцы, Дарвина и его последователей.

Итак, во-первых, если бы Дарвинова теория и была сама по себе вполне рациональна, сообразна с логическими требованиями нашего ума, мы все-таки должны бы были ее отвергнуть из-за от-

сутствия тех фактов и явлений, *одним словом, того объекта, который она берется объяснить*, а во-вторых, если бы этот объект, то есть нечувствительные переходы от формы к форме, от видов к видам, и были констатированы в природе наблюдениями или опытами, то и в таком случае мы также должны бы были отвергнуть ее, ибо *основного объяснительного начала ее, то есть естественного подбора, в природе не существует*, и потому, в сущности, она не объясняет образования видов из их предполагаемых оттенков, то есть индивидуальных особенностей и разновидностей.

Сверх сего и, пожалуй, в третьих, *она ни в каком случае не объясняет всей той категории явлений, за объяснение которой взялась*, но на этом нет надобности настаивать, так как этот недостаток своей теории признает и сам Дарвин в недавно выписанном мною месте, но только вопреки логике и здравым требованиям от всякой теории, не сознает сокрушительной силы этого признаваемого им недостатка.

С положительно научной точки зрения, виды и после Дарвина, как и до него, остаются для нас постоянными, неизменными в своей сущности, но только колеблющимися около некоего нормального типа; ибо таковыми оказываются они, насколько хватают наши наблюдения (исторические и геологические) и наши опыты (культуры и гибридаций).

Но постоянство не значит еще вечность, принять которую было бы столь же противно наблюдениям, как и принятие перехода одного вида в другой. Мы положительно знаем, что виды имеют пределы своему существованию во времени, так же как и индивидуумы; что так же точно имеют они свое начало, то есть каким-нибудь образом да произошли, и что это происхождение видов повторялось очень большое число раз; что имеют они и свой конец – вымирают, что так же повторялось огромное число раз.

Но за отсутствием всяких наблюдений и опытов над этим процессом происхождения, а в большинстве случаев и над этим процессом вымирания видов (там же, где мы могли его наблюдать, он не согласен с требованиями Дарвинова учения), – оба эти процесса находятся пока вне области положительной науки.

Предмет этот, то есть, что Дарвиново учение не имеет ровно никакой цены с точки зрения положительной науки, так важен, что мне хочется еще на нем остановиться, хочется заставить и читателя в нем убедиться, как убежден в нем я, и для этого прибегнуть еще к одному приему доказательств.

Если с одной стороны постоянство видов представляется столь непонятным, столь нера-

циональным, а напротив того, трансмутация видов столь ясною и соответствующую с требованиями разума, то не странно ли и как могло случиться, что столь простая мысль не приходила в голову такому натуралисту, как, например, Кювье? Здесь имени Кювье, как в приведенном мною примере сирени, я придаю значение скорее нарицательного, нежели собственного имени. Это будет рассуждение обратное тому, которым я отвечал в начале этой заключительной главы на вопрос: как могли не представиться уму Дарвина и его последователей большая часть из сделанных возражений? В чем заключались мои ответы, читатели видели, но ни один из них не применим ни к Кювье, ни к его ученикам, ни к Бэру, ни к прочим противникам дарвинизма.

Не может быть ни малейшего сомнения, что мысль эта им представлялась; Бэр далее прямо ее выражал, за что и был привлечен вопреки его положительным заверениям в лагерь дарвинистов, причислен к числу его предшественников. Трудно чтобы и Кювье, утвердившему естественную систему в зоологии, то есть оценившему все значение сродства между формами животных, не приходила на мысль возможность перевести это идеальное сродство на сродство реальное, генеалогическое. Но, если бы мысль эта и не приходила ему непосредственно как результат его собственных исследований, то он был наведен на нее своими знаменитыми современниками и коллегами. Что же препятствовало ему, его последователям и выказавшему даже некоторую склонность к этому воззрению Бэру, принять ее? Две весьма простые вещи:

Во-первых, необходимость перескочить через факты, чего строгость их ума не позволяла им сделать.

Во-вторых, отсутствие способа, модуса, коим процесс этот мог бы быть представляем, и который мог бы заставить помириться с этим пренебрежением к фактам, заставить так сказать смотреть сквозь пальцы на первое препятствие, из-за выгод, которые доставлял бы этот взгляд с умозрительной точки зрения, точно так, как, например, Кювье продолжал признавать теорию предсуществования зародышей из-за ее метафизических – объяснительных достоинств, хотя и в его время было уже достаточно фактов для ее отвержения. Конечно, это последнее возможно было лишь потому, что Кювье специально не занимался теорией развития.

Ламарк и Жоффруа Сент-Илер позволили себе сделать этот перескок, соблазненные спекулятивными выгодами придуманных ими способов или модусов процесса трансмутации. Но способы эти были столь недостаточны, столь слабо

мотивированы, что кроме самих авторов и многих последователей никого не привлекли.

Интересно, как относился к трансмутационной теории Ламарка сам Дарвин. По поводу южноамериканских грызунов – тукутуко (*Stenomys brasiliensis*), несколько штук которых были ему принесены и многие из коих, по уверению поймавшего их, бывают постоянно слепы, он говорит: «Экземпляр, сохраненный мною в спирту, был в таком состоянии; Г. Рейд полагает, что это результат воспаления <...>. Принимая во внимание строго подземный образ жизни тукутуко, слепота его, хотя и столь обыкновенная, не может быть очень серьезным для него злом; однако же кажется странным, чтобы животное обладало органом, подверженным частой порче. Ламарк был бы восхищен этим фактом, если бы знал о нем, когда умствовал (*вероятно с большею правдою, чем это было в его обычае*)⁵³ о постепенно приобретаемой (подчеркнуто в тексте) слепоте хомяка, грызуна, живущего под землею, и протей, пресмыкающегося, живущего в темных пещерах, наполненных водою, у коих глаз почти в зачаточном состоянии и покрыт тяжистою перепонкой и кожей. У обыкновенного крота глаз необыкновенно мал, но совершенен, хотя многие анатомы сомневаются, соединен ли он с настоящим оптическим нервом; зрение его, наверно, должно быть несовершенно, хотя вероятно и полезно животному, когда оно оставляет свои норы. У тукутуко, который, я думаю, никогда не выходит на поверхность земли, глаз больше, но часто становится слепым и бесполезным, что, по-видимому, однако же не причиняет никакого неудобства животному: *без сомнения Ламарк сказал бы, что тукутуко переходит теперь в состояние хомяка или протей*»⁵⁴. Ироническое отношение к Ламаркову учению тут очевидно, не говоря уже о подчеркнутом неодобрительном отзыве.

Очевидно, что предложенные двумя французскими учеными объяснения процесса трансмутации не могли привлечь на свою сторону ученых и тем менее заставить их перескочить через факты.

Так продолжалось около полустолетия, пока не появилась в 1859 году Дарвинова книга *Origin of Species*, которая представила новое толкование процесса трансформации, которое увлекло за собою и большинство ученых, и большинство образованной публики.

Но ведь те же самые причины, которые препятствовали Кювье и его последователям принять учения Жоффруа Сент-Илера или Ламарка,

существуют в полной силе и теперь; и теперь, как и тогда, необходимо перескочить через факты еще более многочисленнее, чем в то время известные. А способ переходов, вновь предложенный, еще менее удовлетворителен, чем Сент-Илеров и Ламарков. И непосредственным влиянием внешних условий, и через посредство изменяющихся привычек (конечно, только у животных) могут происходить хотя небольшие изменения, небольшие отклонения от норм, но естественным подбором ровно ничего произойти не может, так как его самого не существует.

Из-за чего же оставлять без внимания факты, перескакивать через них? Для этого нет даже сколько-нибудь достаточного повода: нельзя себе сказать: ну, факты там как-нибудь приладутся, найдутся, откроются, но зато как все устраивается теорией, как прекрасно ею многое объясняется! В сущности, ведь это Дарвин и говорит в вышеприведенной выписке, находя неправильным отвержение его теории из-за необъясненных трудностей, что ведь другими словами значит из-за несогласия с нею фактов, из-за противоречия им. Нельзя сказать этого потому, что теорией ровно ничего не объясняется, ибо несуществующий мнимый фактор или деятель, каков без сомнения естественный подбор, ничего и объяснить не может.

Но согласимся с Дарвином, допустим, что его теория многое, даже все изъясняет – возможно ли и при этом условии пренебречь фактами? Дарвин как будто бы выговаривает себе это право, ссылаясь на теорию волнений и на Коперникову систему. «Едва ли можно предположить, – говорит он, – чтобы ложная теория объяснила столь удовлетворительным образом различные обширные разряды явлений, выше обозначенные, как это делает теория естественного подбора. Недавно было сделано возражение, что это не здравая метода рассуждения; но эта метода, употребляемая в суждении об обыкновенных событиях жизни, часто употреблялась и величайшими философами природы (*natural philosophers*). Теория волнений света была добыта таким образом; и уверенность в вращении Земли около своей оси едва ли подкреплялась до недавнего времени каким-либо прямым доказательством»⁵⁵.

Да и я смело утверждаю, что это не здравая метода рассуждения; если она употребляется в обыкновенной жизни, то это еще не причина, чтобы употреблять ее и в науке. Эта метода есть

⁵³ Probably with more truth, than usual with him.

⁵⁴ *Darwin*. Journal of researches of the voyage of H.M.S. Beagle. II ed., p. 51, 52.

⁵⁵ *Darwin*. Origin of species. VI ed., p. 421. Место это прибавлено в новейших изданиях: ни во втором, ни в третьем издании его еще нет.

не более, как догадка; часто она удается, но часто вводит и в заблуждение.

Пример теории волнений совершенно неверен: ибо, когда она была предложена Гюйгенсом, никакие факты (которые бы впоследствии разъяснились) ей не противоречили, и она все известное так же хорошо объясняла, как и Ньютонова теория истечения, и, как я уже заметил, аналогия с этою последнею гораздо ближе и вернее. Разница та, что при появлении теории истечения противоречащих ей фактов, не объясняемых ею, не было известно. Они были открыты только впоследствии, и тогда, соответственно этому, и теория была отвергнута. Дарвинова же теория при самом своем появлении перескочила через множество фактов.

Гораздо поучительнее аналогия с Ньютоновой же теорией притяжения, как я уже не раз на это указывал, которая, будучи в сущности истинною, была, однако же, оставлена самим творцом ее именно потому, что он считал недозволительным перескакивать через факты, или, по крайней мере, через то, что он за таковые считал. Это пример действительно здоровой методы рассуждения.

Пример Коперника, по-видимому, более говорит в пользу метода Дарвина, и потому я с несколько большею подробностью остановлюсь на нем. По-видимому, Коперник также не стеснялся фактами и смело перешагнул через них, к великому благу науки. Факт, через который он перешагнул, была видимая неподвижность Земли и видимое суточное движение около нее Солнца, Луны и планет. То есть, он перемахнул будто бы через видимость, производимую обманом чувств, прежде чем можно было доказать каким-нибудь посторонним фактом, что это действительно только видимость и обман чувств.

Но это понимание дела совершенно неверно: в неподвижности Земли и в движении около нее Солнца, Луны (суточном) и планет, нет никакого обмана чувств, а есть только обман неправильно заключения, через которое перескакивать не только всегда дозволительно, но и всегда обязательно. Мы едем на лодке, и берега уходят назад, а лодка стоит. Но мы сидим в вагоне, стоящем у станции и вплоть мимо нас проносится другой поезд в направлении нам встречном, и нам кажется, что тот поезд стоит, а мы тронулись и несемся вперед. В первом случае перед глазами происходит явление очень сложное. Ведь не только берега убегают назад, но и все предметы, находящиеся на берегу вблизи и вдаль, перемещаются относительно друг друга, потому что ближайšie быстрее удаляются, чем дальнейшие от едущего. Эту сложную систему передвижений кажется трудным отнести только к одной причине удаления от

одних и приближения к другим, и потому мы относим все к собственному сложному движению предметов. В близко пробегающем мимо вагоне, явление просто и объяснялось бы одинаково хорошо в обоих предположениях; но мы сидим в вагоне, то есть в таком помещении, которое назначено для движения, которое только что двигалось и вот-вот, ожидаем мы, должно опять начать двигаться; естественно, что всякий малейший повод к исполнению этого ожидания приводит к заключению, что ожидаемое уже началось. В обоих случаях то, что показывают чувства, совершенно верно, они нисколько нас не обманывают, они представляют лишь удаление одних и приближение других предметов, в ту же сторону, как при нашем движении вперед, так и при их движении назад. Обманывает нас лишь то заключение, которое мы из этого выводим. Мы произносим суждение наше на недостаточных основаниях, ибо, если какое-либо явление одинаково хорошо объясняется при двух различных предположениях, то, очевидно, что предпочтительный выбор одного из этих объяснительных предположений будет совершенно произвольный, ничем немотивированный. Для этого выбора нужно обратиться к помощи такого нового факта, который при одном предположении соответствовал бы, а при другом не соответствовал бы предположению, противоречил бы ему. Вот это самое, и только это, и сделал Коперник, предположив более простое и точное объяснение замечаемых перемещений небесных тел при вращении Земли, чем при их вращении около нее, перемещений, о которых единственно наши чувства и свидетельствуют, тогда как толкование их в смысле неподвижности Земли есть только на недостаточных основаниях сделанное умозаключение. Вот через это-то умозаключение собственно только и перескочил Коперник, то есть отверг его, а ни через какие факты он не перескакивал, хотя бы только через такие, которые были бы одною видимостью; и этого он не имел бы права сделать, не показав предварительно их неверности.

После опытов с ядром, падающим с высокой башни к востоку от вертикали, или с маятником Фуко, получилось право утверждать, на основании фактов, что Земля вращается около оси; но уже и во времена Коперника ничто не давало права утверждать, что она не вращается, и для утверждения противного не предстояло надобности оставлять без внимания какие бы то ни было факты, перескакивать через них и еще менее противоречить им, а все это неизбежно нужно было делать Дарвину, при установлении его теории; необходимо делать это и теперь, при ее принятии <...>.

Общее заключение об учении Дарвина с умозрительной или философской точки зрения

Так представляется дело с положительно-научной точки зрения. Но я весьма далек от той мысли, что границы положительной науки, не только в данное время, но и вообще, совпадают с законными границами человеческого мышления. Есть учение, дающее себе название позитивной философии, утверждающее это. Здесь не место его разбирать, и я замечу только, что так называемый позитивизм также мало имеет права называться философией, как учение, которое бы утверждало, что всякое врачевание (и диететическое, и профилактическое, конечно, в том числе) бесполезно и бесцельно, имело бы право называть себя врачебною наукой; или учение аббата Сен-Пьера⁵⁶ о вечном мире – стратегией или тактикой.

Притязания позитивизма представляются мне в образе датского и английского короля Канута Великого⁵⁷, повелевающего морскому приливу остановиться у ног его, с тою однако же существенною разницей не в пользу позитивизма, что Канут приказывал приливу иронически, для посрамления своих льстецов, Конт⁵⁸ же и его последователи серьезно отдают приказ человеческой мысли остановиться и не идти далее. Конечно, и мысль имеет столь же мало возможности последовать их велению, как и море приказанию Канута.

За пределами положительной науки начинается область метафизики в том смысле, который придавал ей Аристотель, то есть область того, что лежит за пределами физики, или область философии в обширном смысле этого слова. Не прорываться за эти пределы человеческая мысль даже захотеть не может. При всяком состоянии положительного знания она необходимо, по природе своей, стремится к достижению знания полного, объемлющего собою всю область познаваемого, почитая таковою все, что тревожит ее вопросами. Никаким доказательствам, хотя бы они проводились с Кантовскою строгостью, о

неразрешимости их для нее, о существовании грани, разделяющей познаваемое от непознаваемого, она не поверит, потому что поверить не может, и только что, будто бы убедившись в существовании такой грани, сейчас же начинает отыскивать пути для ее обхода.

При этом, конечно, чем менее подвинулось вперед здание положительной науки, тем более простора и свободы метафизическим умозрениям; тем будут обширнее, тем большую долю здания займут эти метафизические достройки; и не только тем большее место будут они занимать, но и тем свободнее будет установление их архитектурных линий, и потому тем менее будут они соответствовать действительному плану здания, как бы скрытому в верхних частях своих в тумане, и большую часть которого приходится угадывать. Но с постепенным рассеянием тумана светом положительной науки, общие очертания здания должны все более и более выясняться, и догадки метафизики все более и более совпадать с действительностью.

Так, продолжая это сравнение, оказалось возможным достроить Кельнский собор с большою вероятностью, что достройка эта соответствует первоначальному архитектурному плану его, потому что здание было уже очень высоко возведено. Но если бы имелось от него только основание, то, очевидно, что достройка не могла бы соответствовать действительности, которую в этом примере изображает собою первоначальный план, задуманный его начинателем. Но еще гораздо менее вероятности – так мало, что она равняется нулю, чтобы наше умозрительное здание совпало в частностях и в целом с действительным храмом природы, если он весь еще задернут туманом, с вершины до основания; или, что совершенно тождественно с этим, если мы намеренно отворачиваем глаза от выяснившихся очертаний этого храма, насколько они выдвинулись из тумана, рассеянного положительною наукой, возмнив, что одними усилиями нашего ума мы можем возвести здание, тождественное с действительным зданием природы.

Такое самообольщение, в котором не раз впадал человеческий ум, дискредитировавшее всякое умозрение, метафизику или философию, называется априоризмом. В долгой Одиссее человеческой мысли, эти две крайности, априоризм и позитивизм, суть как бы Сцилла и Харибда, которые втягивают в себя и поглощают отклонившиеся от истинного пути научные направления.

Таково, по моему мнению, единственно законное употребление умозрительной метафизи-

⁵⁶ Шарль-Ирине де Сен-Пьер (1658–1743) – французский аббат, влиятельный публицист, один из главных адептов и пропагандистов идеи «вечного мира» между государствами и народами. В 1713 году представил на Утрехтский конгресс, завершивший войны за Испанское наследство, проект «вечного мира», предполагавший создание договорным путем «федерации» государств, действующей на основе общих интересов и норм международного права (Ред.).

⁵⁷ Канут Великий (994/995–1035) – король Дании, Англии и Норвегии, властитель Шлезвига и Померании (Ред.).

⁵⁸ Огюст Конт (1798–1857) – французский философ и социолог, основатель позитивизма (Ред.).

ческой методы, и нельзя опасаться, чтобы она когда-нибудь была вытеснена исключительным господством эмпирии. Неправильно то представление, по которому метафизика и положительная наука представляются фазисами развития человеческой мысли⁵⁹. – Это не фазисы развития, а две методы, которые всегда совместно действуют при стремлении человека познать природу (то есть все, что есть). Но если, по великолепному выражению Бэра, «наука вечна в своем источнике, не ограничена ни временем, ни пространством в своей деятельности, неизмерима в своем объеме, бесконечна в своей задаче, недостижима в своей цели»⁶⁰, то напрасны опасения или надежда, что она когда-нибудь достигнет той точки, на которой или обратится вся в философию, в метафизику, в дедуктивный вывод из единой общей идеи; или, наоборот, вытеснит всякую метафизику, то есть последовательным и непрерывным рядом наблюдений и опытов достигнет полного всецелого знания. То и другое одинаково невозможно!

Следовательно, возвращаясь к уподоблению зданием, мы можем сказать, что, для того чтобы умозрительная или метафизическая достройка его была по возможности совершеннее, то есть соответственнее, сообразнее с действительностью, мы вправе и в обязанности от нее требовать, чтобы она и в самом деле была только достройкою, а не самобытно воздвигнутым умственным зданием. Другими словами, мы должны требовать от всякого умозрительного построения природы, чтобы оно приняло своим основанием те части здания, которые открыты положительною наукой, чтобы оно прониклось планом его и сообразно с ним его достраивало – точно так, как архитектор реставрирует здание по сохранившимся его частям.

Из сего очевидно следует, что отвергаемое положительною наукой не может входить и в умозрительное или философское мировоззрение.

Эти отношения между наукой и философией, в рассмотрение которых мне надо было войти для моих целей, хотелось бы мне еще более выяснить. Средством для этого послужит мне общеупотребительное установившееся у французов различие между *Science* и *Philosophie*⁶¹, по которому философия как бы не причисляется к числу наук. Это различие столь ясного и логи-

ческого французского ума представляется мне совершенно верным в противоположность английскому выражению *natural philosophy*⁶², спутывающему, сливающему эти два понятия, и вот в каком смысле кажется мне оно верным.

Как известно, слово «философия» имеет два значения. В одном означает оно науку, имеющую своим предметом саму науку, то есть критику нашей познавательной способности, критику научной достоверности. В этом смысле философия, обозначаемая особым эпитетом – *критической философии*, есть действительно самостоятельная наука, стоящая в ряду прочих, или правильнее, во главе прочих наук. Но не ее имею я в виду.

Философия в другом значении имеет своим предметом достижение цельного и полного мировоззрения и называется философией догматическою. Нетрудно усмотреть, что различие ее от науки будет состоять в том, что наука, как в целом, так и в частях, имеет целью *знание природы* (в обширнейшем смысле), то есть знание полной иерархически соподчиненной системы фактов и явлений природы в ее целостности или в какой-нибудь категории их. Философия же имеет своею целью *понимание всего этого познанного*.

Но как знание и понимание суть две различные вещи, то и философия, и наука между собою различны. Конечно, и наука, иерархически соподчиняя явления, тем самым и объясняет их, то есть доставляет частное их понимание, но ведь только частное, то есть такое, при котором само объяснение в какой-либо степени остается необъясненным и непонятым, следовательно как бы висящим на воздухе, или опирающимся на слоне, стоящем на черепахе, неизвестно на чем стоящей. Очевидно, что такая наука ничтожна, ибо не соответствует той побудительной причине и цели, которые заставили и заставляют человека строить науку.

Но, с другой стороны, столь же очевидно, что и философия, дающая (или мнящая дать) понимание не того, что мы знаем, а чего-нибудь иного, столь же, если не более, ничтожна, становясь воздушным замком. Я говорю еще более ничтожна, потому что знание без полного понимания или, точнее, без надежды на полное понимание, может иметь хотя некоторое практическое, утилитарное значение.

Из этого отношения между наукою и философией понятно и то, почему постройка храма познания началась с вершины, а не с фундамента, с философии, а не с науки. – Для происхождения науки вначале не было достаточно побудитель-

⁵⁹ Имеется в виду так называемый «закон трех стадий», сформулированный О. Контом, согласно которому человеческая мысль и формы общества проходят в своем развитии три последовательных стадии: теологическую, метафизическую и позитивную (*Ред.*).

⁶⁰ *Baer. Reden.* 1864. S. 121.

⁶¹ Наука и философия (*фр.*).

⁶² Философия природы (*англ.*).

ных причин. Знание не было довольно привлекательно, – достаточную силу соблазна или обольщения обладало только понимание. Разные другие побудительные причины: практическая необходимость, частная любознательность и даже случайность мало-помалу положили начало положительному знанию, и по мере его накопления все перестраивалось и перестраивалось и здание философии, для приведения его в соответствие с знанием, то есть с наукою.

Применим теперь сказанное к обсуждению Дарвинова учения с умозрительной или философской точки зрения. – Мы видели, что с положительной научной стороны невозможно признать ни существования незаметных переходов от видов к видам под формою переходных разновидностей, и от разновидностей к разновидностям – под формою индивидуальных особенностей, ни их накопления, суммирования, а также исключения непригодного, по большей части промежуточного, путем естественного подбора и под влиянием расхождения характеров⁶³. Все это, следовательно, не может войти и в умозрительное построение органической природы.

Что же за исключением всего этого может перейти в него из Дарвинова учения? Ничего более, кроме общей мысли, которую оно разделяет со многими другими учениями, происхождения одних существ от других, то есть так называемого учения о нисхождении форм от форм (*Descendenzlehre*). Это учение, недоказанное путем положительной методой, а при теперешнем состоянии наших знаний и недоказуемое, по этому самому и неопровергаемое: то есть, если никаким положительным фактом оно не подтверждается, то никаким прямо и не опровергается, а потому и может служить предметом для умозрения, если имеет на своей стороне некоторую достаточную степень вероятности.

А таковую оно без сомнения имеет, ибо какие-нибудь два вида животных или растений конечно ближе друг к другу, чем к земле, глине, то есть вообще к неорганическому веществу, а потому и происхождение животных или растений друг от друга, для нас гораздо представимее, чем непосредственное возникновение их из неорганической природы, при каких бы то ни было условиях и обстоятельствах, каким-либо родом самопроизвольного зарождения. Здесь, по крайней мере, жизнь является нам данною, и мы не имеем надобности всякий раз обращаться к этому постоянно искомому и никогда не обретаемому началу ее.

Насколько мы признаем трансмутацию, настолько избавляемся от признания самопроизвольного зарождения, а ведь и в том, и в другом природа одинаково отказывается в данных нашим опытам и наблюдениям, и в последнем даже более, чем в первом. Но принять, даже и предположительно, это нисхождение форм от форм можем мы только под условием, чтобы оно ни в чем не противоречило положительным фактам, и потому не можем признать переходов рядами постепенных, почти неощутимых оттенков. В нашем умозрении нам поэтому ничего не остается, как прибегнуть к скачкам от формы к форме, настолько, по крайней мере, значительным, чтобы, принимая по необходимости во внимание одни лишь морфологические признаки, мы могли бы считать их за формы или виды столь хорошо охарактеризованные, как ископаемые раковины и другие ископаемые животные с сохранившимися твердыми частями.

Но для такой гипотезы мы не остаемся без ближайших и без отдаленнейших аналогий. Примеры первой мы привели выше в Дюшеневой однолистной землянике, в нитчатой или плакучей биоте, которые произошли на глазах ученых или садоводов, и по степени отклонения от коренных форм не уступают ни одному из примеров, приводимых Дарвином как результат долговременного (весьма, впрочем, сомнительного) подбора в настоящем значении этого слова, то есть накопления мелких индивидуальных особенностей. Такие же примеры видим в мошанских и анконских овцах, в ниатском рогатом скоте, хотя в этих случаях изменения вышли уродливые.

Еще сильную аналогию, хотя в ином роде, видим мы в тех случаях, когда формы онтогенетической метаморфозы как бы получают преждевременную половую зрелость и самостоятельно размножаются, между тем, как зрелая форма также имеет эту способность, так что можно сказать, что два фазиса развития становятся двумя самостоятельными видами и притом столь отдаленными, что размещались иногда в разные отряды или, по крайней мере, семейства.

Так, в Мексиканском озере живет хвостатое лягушковидное животное – аксолотль, принадлежащее к отряду или семейству сиреноидных, то есть земноводных, всю жизнь сохраняющих жабры, тогда как тритоны и саламандры, так же как и головастики лягушек, имеют их только в личинковом состоянии. Но, хотя аксолотли и способны к половому размножению и в этом состоянии наиболее известны, однако они могут, при некоторых обстоятельствах переходить в форму безжаберную – саламандровидную, и в

⁶³ Признаков (*Ред.*).

этом состоянии известны под именем амблиостом, причислявшихся к другому подотряду или даже отряду. – Из низших животных можно бы привести несколько подобных примеров, но об этом предмете мы будем иметь случай говорить впоследствии подробно.

Примерами отдаленной аналогии могут нам служить все химические соединения, которые происходят ведь не во всевозможных пропорциях смешения двух тел, а лишь в некоторых определенных содержаниях, как бы значительными скачками, что и послужило основанием атомистической гипотезы.

Но для построения этой формы филогенезиса мы не можем прибегнуть ни к выводу ее из известных нам законов, будет ли то путем опыта и наблюдения, или умозрительно, ни к учению о случайном совпадении отдельных мелких изменений с условиями внешнего мира и с внутренним строением организмов, к такому совпадению, которое имело бы своим результатом внутреннюю и внешнюю гармонию органических существ. Аналогия остается нашим единственным прибежищем и руководителем в этом умозрительном или философском (не забудем, никак не положительно-научном) построении.

Но за норму для этой аналогии необходимо избрать явления более подходящие, чем избранные Дарвином изменения, претерпеваемые прирученными животными и возделанными растениями под влиянием искусственного подбора; негодность этих изменений для этой цели не в одном каком-либо, а в весьма многих отношениях, кажется мне, я с достаточною полнотой и ясностью доказал.

Для филогенезиса не может быть аналогии более близкой, чем онтогенезис, при коем, как в процессах, происходящих во внешней для организмов природе, в метаморфозе насекомых, в явлениях перемежаемости поколений и проч., так и внутри яйца или в материнской утробе – одни определенные формы переходят в другие столь же определенные и определенным же образом дополняются и замещаются. Этот процесс известен под именем развития.

Но что такое развитие? Для многих это – всеобъясняющий талисман; коль скоро удастся подвести какое-либо явление, все равно, космическое ли, биологическое, психологическое, социальное или историческое, под это, не скажу, понятие – для этого оно по большей части слишком туманно, а под это сакраментальное слово, то полагают, что делу дано уже полное объяснение, что, как в просторечии говорится, дело в шляпе. Выше я уже указывал на ошибочность этого мнения.

Развитие, в том, по крайней мере, смысле, который должно приписать этому слову в применении к онтогенезису, есть процесс в высшей степени и, можно даже сказать, по преимуществу непонятный, собственно говоря, ровно ничего не объясняющий, но значительно усложняющий дело и представляющий нашему пониманию только особый ряд новых, необъяснимых явлений и фактов. Развитие в тесном, буквальном и настоящем значении этого слова является нам в произрастании молодого растительного побега из почки, и в этом именно смысле понимала его теория предсуществования зародышей. Все части уже преобразованы в почке, и они только растут, увеличиваются в размерах по всем направлениям и потому, между прочим, и раздвигаются.

Некоторое усложнение этого процесса окажется, если простое увеличение размера частей будет происходить неравномерно, например, от притока сока сильнее в одних, чем в других направлениях; но и при этом явление все еще, можно сказать, остается понятным. Но собственно понятны ведь этот рост, это раздвижение при данном преобразовании, а это последнее все-таки остается непонятным.

Но настоящее развитие, то развитие, коим происходит всякое растение или животное из своего семени или яйца, есть только краткое выражение для множества совершенно непонятных процессов – ибо оно есть эпигенезис, то есть образование начальной формы из соединения (или размножения) простейших ячеек или органических элементов по неисследимому для нас морфологическому принципу, а затем постоянное нарастание или наложение на нее все новых и новых форм, умножение и исчезновение некоторых прежних, точно как если бы вещество принуждалось вливаться в некоторую невидимую форму.

Это *становление* – *Werden* – есть только присоединение (или замещение) к прежде *сущему* – *Sein* – новых, сравнительно с целым малых, *сущих* – *Sein*'ов. И во сколько нам непонятно целое *Sein*, или *сущее*, во столько же непонятны и эти маленькие, нарастающие одно на другое или замещающие друг друга новые *сущие*, или *Sein*'ы. Все, что мы выиграли в понимании дела, заключается лишь в замене одной непонятности многими непонятностями, непонятным образом слагающимися в это целое. Одним словом, ничто *сущее*, никакое *Sein*, не объясняется *становлением* – *Werden*, и это становление вовсе не составляет объяснительного принципа. Даже совершенно напротив, этот процесс становления и есть по преимуществу, собственно говоря, даже

единственно непонятный процесс, хотя признать его и необходимо⁶⁴.

Возьмите, например, эквивалентность химических соединений: на что, кажется, вещь странная и непонятная, но признайте раз существование абсолютно неделимых элементов материи, и все становится прозрачно ясным и понятным. Если атом неделим, то только атом с атомом или с двумя или с тремя и могут соединяться, а не какие-либо их четверти, десятые и т.д. Но почему же это понятно? Потому что атомы не *становятся*, а из века в век *суть*.

Так же точно, все движения планет во всей их сложности совершенно понятны, если раз признаем, что каждой частичке материи присуща сила притяжения, равномерно распространяющаяся или действующая во все стороны. И опять почему? – Потому что сила притяжения не *становится*, не *wird*, а из века в веки *есть*. Попробуйте подчинить их становлению, и вся ясность, отчетливость понимания исчезнет.

Но всякая органическая форма и после разбора ее по частям во времени (история развития), и разбора по частям в пространстве (анатомия и гистология), остается для нашего понимания столь же загадочною, как и была в своей еще ненарушенной целостности до этого анализа во времени и пространстве. Можно, конечно, сказать, что в первом случае понимание достигается лишь тем, что мы кладем в основу его непонятное. На это я отвечу, во-первых, что атомистическое представление о материи несколько не непонятнее всякого другого, даже совершенно наоборот – оно и есть единственно понятное, что никакого противоречия оно в себе не заключает и что только из него все остальные химические, да и физические явления становятся понятными, – что так же точно и сила притяжения не более непонятна, чем какое-либо иное представление о причине движения, например, о давлении со всех сторон, от толчков получаемых от постоянно колебательно движущихся частиц материи.

Во-вторых, и на это только и должны мы теперь обратить наше внимание, если в приведенных примерах атомов и силы притяжения что-либо остается непонятным, то только постоянно сущие, а не становящиеся начала; а там, где мы имеем дело с становлением – *werden* – как в органических существах, какое бы начало мы для их объяснения ни приняли, останется непонятным не оно только, но все в совокупности и в отдельности бесчисленные ступени, через которые они проходят при их становлении.

⁶⁴ Эта мысль о непонятности именно развития отлично изложена у г-на Страхова «Мир как целое» в VI главе «Писем об органической жизни».

Если мы захотим составить себе некоторое представление эпигенетического развития, нам лучше всего обратиться к примеру ваятеля, лепящего статую. Сначала дает он куску глины общее и грубое очертание человеческой фигуры, собственно только главных ее размеров, назначает лишь вышину и главные утолщения и сужения фигуры, по которым нельзя отличить, будет ли это мужчина или женщина, голый или одетый человек, в древнем или новом костюме. (Так точно и при развитии животного вначале можно узнать только его тип, затем его класс, его отряд и т.д.).

Природа, как и скульптор, не отделяет всех частей разом (конечности, например, появляются в сравнительно поздний период) и идет от общего к частному. Отдельным частям, например голове, ваятель также сначала дает общую форму, затем налепливает положим нос, вынимает впадину глаз, вытесняет или налепливает выпуклинку бровей, затем выделяет горбик носа, раздутие ноздрей и самые ноздри и т.д.

Присоединим к этой работе ваятеля два предположения: пусть обладает он шапкой-невидимкой, и пусть все эти налепливания, выемки, вытеснения, сглаживания происходят не наружными, извне действующими инструментами и приемами, а неким внутренним процессом разбухания и сжатия глины в должных местах и в определенном последовательном порядке, – и мы получим некоторое подобие эпигенетического процесса развития. Нам бы казалось, что постепенное выяснение и определение формы статуи есть отображение некоего идеального образа.

При предположении нашего скульптора-невидимки мы бы не ошиблись; статуя была бы отображением некоего в нем живущего внутреннего образа или идеала, осуществляемого посредством упомянутых процессов разбухания и сжатия глины, находящихся в распоряжении его воли. Ошибемся ли, если и для эпигенетического процесса развития организмов прибегнем к подобному же предположению? Во всяком случае, я осмелюсь утверждать, что такое предположение есть единственное, которое могло бы объяснить его нашему уму. Иначе процесс этот останется для нас совершенно непостижимым.

В процессе онтогенетическом невозможно даже прибегнуть к помощи рядов, случайных, несообразных между собою и с целым, попыток, из коих непригодные гибли бы, а оставались бы лишь целесообразные, ведущие к гармоническому результату, которые одни бы и накопились, нарастая одна на другую; невозможно, так как условия для подбора, очевидно, тут совершенно немыслимы, как в сущности, впрочем,

немыслимы они, хотя и не столь очевидным образом, и в процессе филогенетическом.

Одним словом, если филогенезис подобен онтогенезису, а другого подобия мы для него не отыщем, так как ведь подобие искусственного подбора оказалось со всех сторон несостоятельным, то филогенетический процесс будет процессом развития; а развитие есть эпигенезис, а эпигенезис постижим только как процесс с своей морфологической стороны идеальный, хотя и осуществляемый, конечно, как выразился Бэр, не волшебством, а при посредстве сил природы. Но процесс идеальный, если захотим придать ему определенный смысл, а не произносить звук пустой, есть ни что иное, как процесс интеллектуальный.

Итак, если мы и оставим почву положительной науки, но, вышедши за ее пределы, будем основываться на ней и, руководствуясь вероятностями, прибегнем для объяснения многообразия и разнообразия форм органического мира к теории нисхождения, мы, в конце концов, все-таки не можем постигнуть происхождения форм органического мира иначе, как под видом процесса идеального, или, точнее, интеллектуального.

Другими словами, это значит, что все равно, будем ли придерживаться старого учения Линнея и Кювье о постоянстве видов, или примем учение нисхождения в единственной его разумной и возможной форме эпигенетического развития, происхождение форм или видов будет для нас не иным чем, как созданием, то есть результатом интеллектуального, насквозь разумного процесса, в отношении к которому силы природы являются служебными.

Вот здесь ждет меня без сомнения возражение, которое предвижу, потому что сам себе его делал. Здесь могут меня укорить в логическом перескоке. Мне могут сказать: вы отвергаете механическое объяснение, или, точнее, объяснение, выведенное из случайности, как заместителя неприложимой к данному случаю механической необходимости; допустим, что вы правы, по крайней мере, это было вами доказываемо, если и не доказано. Но, отвергнув это объяснение, вы сейчас же переходите к предуставленным целям, к телеологии, как Бэр. Но ведь есть еще так сказать средний термин, через который вы перескочили. Этим средним термином будет нисхождение органических существ, трансмутация форм по некоему внутреннему присущему организму закону развития. Это не только мыслимо, но многими учеными, отвергающими дарвинизм, но признающими нисхождение форм от форм, хотя бы и не всех от одной, были предложены теории, основанные именно на таком понимании дела.

Это совершенно справедливо, и вместо моих предполагаемых возражателей я приведу как раз сюда относящееся место из Кёлликера, предложившего теорию происхождения органических существ такую пермутацией или трансформацией по внутреннему закону развития: «Чтобы пресечь всякие недоразумения я выставлю на вид (*hebe ich hervor*), что для меня органические образования совершенно подлежат тем же законам, как и неорганическая природа, и что поэтому мое основное воззрение одинаково с воззрением значительного большинства новейших естествоиспытателей, которое признает и Э. Геккель (видно, нормальный образец, *Standart* для сравнения) под именем механического, или монистического⁶⁵. То, что я называю законами в органической природе, есть, таким образом, не что иное, как то, что обозначает этим именем физик, химик, астроном, и под общим законом развития органической природы понимаю я не иное что, как и минералог, когда он говорит о законе образования кристаллов, или астроном о законе тяготения и о законе развития небесных тел. Таким образом, ход моих мыслей просто тот, что подобно тому, как в основании образования кристаллов, небесных тел, солнечных систем лежат общие законы, которые производят точнейшие согласования этих единиц форм (*Formeinheiten*), без того чтобы между ними существовала генетическая связь; так же точно и в царствах животном и растительном может оказываться согласование, без того, чтобы непременно необходимо было признавать происхождение всех организмов друг от друга, или медленное преобразование их одного в другой.

Чтобы еще определеннее выразить мое понимание этих отношений, прибавлю еще, что, по моему мнению, организмы, могущие ведь находиться и на других планетах, например на Марсе, в сущности, будут иметь те же свойства (*ebenso beschaffen sein werden*), как и на нашей Земле, и следовать тем же законам образования, как и эти, не будучи, однако же, необходимо тождественными с ними, каковая тождественность, однако же, конечно, не исключается»⁶⁶.

В этих словах выражена одна справедливая мысль, что согласование или гармония органического мира может оказываться и без признания

⁶⁵ Странное, однако же, *или*, как будто монистическое воззрение не может быть одинаково и материалистическим, и механическим, и идеалистическим, и спиритуалистическим. Неужели, например, воззрение Фихте-старшего не было монистическим?

⁶⁶ *Kölliker. Morphologie und Entwicklungsgeschichte des Pennatulidenstammes nebst allgemeinen Betrachtungen zur Descendenzlehre. 1872. S. 3, 24.*

их генеалогического сродства, судя по аналогиям с другими разрядами фактов. Но ведь и только, ибо постигаема она быть не может, как она не постигается и в кристаллах, и в солнечных системах; а Дарвиново учение доставляло бы это постижение, если бы было возможно, если бы имело достаточные основания, не противоречило бы самому себе, не приводило к абсурду, согласовалось с фактами.

Разбирать теорию Кёлликера здесь не место; ее я изложу и рассмотрю вместе с другими гипотезами о происхождении организмов в одной из последующих глав моего труда. Теперь же остановимся лишь на той мысли, что организмы происходят по некоему внутреннему закону развития, каков бы он сам по себе ни был. «Я выставил положение, – говорит Кёлликер, – что в основании происхождения всей органической природы лежат общие законы природы»⁶⁷. Но что такое общие законы или вообще законы природы? Нам необходимо это определить, чтобы оценить предполагаемое со стороны других или мною самим сделанное возражение логического перескока.

Слово «закон природы», так же как и слово «развитие», многих вводит в большие заблуждения. Точно так, как, подведя явление под развитие, думают, что получили его объяснение, точно так же думают, что сделали это, когда говорят, что подвели его под закон. Выражение «закон природы» очевидно метафорического происхождения; что под ним разумеют, отлично выражено в недавнем прочитанных мною двух прекрасных стихах⁶⁸:

Раб слепой – слепых законов
Мчится поезд в тьме ночной.

В стихах, дело которых представлять нам живые, смелые, красивые, величественные, увлекательные образы, это прекрасно. Метафора – их область. Я даже не придержусь к тому, что поезд собственно никак уже не раб слепых законов, а целесообразнейших намерений, выразившихся в постройке дороги, кладке рельсов, устройстве машины, в коих всякая малость была предусмотрена, целесообразно соображена и разумно выполнена, в гораздо большей степени, нежели простая дорога и экипаж, везомый лошадьми и правимый кучером. Слепота, очевидно, относится тут к законам упругости паров; но пары ведь – или просто бы шипели и свистели, выходя понемногу и увеличивали бы влажность окружаю-

щей атмосферы, или разорвали бы котел, а не везли бы поезда, совершенно как и те силы, которые действуют в организмах, да и во всем мире, ничего толкового бы не произвели или даже ровно ничего бы не произвели, если бы слепо строили организмы или миры. Но стихи все-таки хороши, и дело в том, что понимание явлений, в них выраженное, вполне соответствует тому, которое соединяют с понятием о законах природы не только образованные люди и вообще die Laien, но и многие ученые – понимание, по которому явление есть раб, исполняющий некое веление некоей слепой воли – закона.

Очевидно, что это метафора, а метафоры, метафорический смысл которых забыт, всегда производят великую путаницу в головах человеческих, как, например, и понятие *развития*, которое также ведь метафора, как я выше показал, многое путает. Но мало метафор, которые бы столько путали, как метафора законов природы. Берется одна сторона явлений, представляющая частную аналогию; по этой аналогии наименовываается предмет или явление; – пока дело совершенно невинное, – но это происхождение метафоры скоро забывается, и все, выражающееся в метафорическом названии, принимается за полную аналогию, за тождество – и путаница готова.

В самом деле, как представляется людям, не получившим естественнонаучного образования, или весьма поверхностно к нему относящимся, знаменитая ньютонова формула? Во-первых, ее называют законом природы, хотя она и нечто гораздо высшее, как сейчас покажу; далее думают (и это опять говорю по опыту), что это некая уловка, некий фортель, в одной части которого придумано, чтобы притяжение действовало в прямом отношении, а в другой части как-то обратно; и затем в первой части просто во сколько раз больше масса, во столько же раз и сильнее должна она притягивать, а во второй части не просто, а с ухищрением, это притяжение должно ослабевать в квадратном отношении. Штука преудивительная, но зато и результат предиковинный.

И вот в эту-то штуку, уловку, в этот фортель и в это ухищрение проник Ньютон, как бы отпер секретный замок. Конечно, люди мало-мальски естественнонаучно образованные так не думают, но все-таки многие и очень многие и из них не вполне отрешаются от ошибочности в понимании выражения закон природы, ошибочности, приставшей к нему от его метафорического происхождения, и все еще приписывают этим законам какое-то таинственное, мистическое объяснительное значение.

В выражении «законы природы» аналогия, послужившая поводом к этому метафорическому

⁶⁷ Kölliker. Morphologie und Entwicklungsgeschichte des Pennatulidenstammes nebst allgemeinen Betrachtungen zur Descendenzlehre. 1872. S. 3.

⁶⁸ Гр. А.А. Голенищева-Кутузова.

термину, заключается в сходстве обязательности, замечаемой в известном порядке явлений, с обязательностью поступков людей, повинующихся гражданскому закону. Но закон гражданский есть ведь нечто, извне обязательное и извне объясняющее характер поступков с ним сообразных. На вопрос: почему вы так-то и так-то поступаете, – дается ответ: потому что так повелевает закон, и вы понимаете поступок, то есть знаете причину его. Ни того, ни другого нет в законе природы, то есть нет ни внешнего повеления, нет ни объяснительной причины, пока так называемый закон природы есть не более как закон.

Например, в Европе средним числом рождается 106 мальчиков на 100 девочек. Это называется законом; но кто или что повелевает этому так быть? и где тут объяснение явлению? – ни того, ни другого не видно. То же самое будет и относительно более точных и строгих законов, например, относительно знаменитых Кеплеровых законов.

В первом отношении ясно, что обязательность тут внутренняя, а не внешняя. И потому правильнее бы было говорить об обычаях, чем о законах природы; потому что обычай в себе самом носит свою обязательность. Другое преимущество заключалось бы в том, что исполнение обычая гораздо сильнее обеспечено, чем исполнение законов. В самом деле, какой закон исполняется так строго и точно лицами, ему подлежащими, как, например, обычай делать визиты на новый год членами общества, признающими это правило? Хотя аналогия была бы полнее и метафора правильнее, но все-таки осталась бы метафорою.

В сущности же, закон природы есть не что иное, как явление или факт, не единичный, а известной общности, общности, могущей распространяться и на очень малое число единичных явлений или фактов, даже всего на два, и на очень большое число их, даже на все. Это будут законы частные и законы общие, между которыми различие только количественное. Все планеты движутся по эллипсисам! Что это такое? – это есть общее, замечаемое в форме всех планетных путей. Велик или мал их эксцентриситет, то или иное взаимное наклонение плоскостей этих путей, во всем этом и во многом другом они могут различествовать – это будут единичные, индивидуальные для каждой планеты факты, а эллиптичность орбит есть их закон.

Но чем же закон отличается от этих единичных фактов? Ничем, кроме его общности для всех планет, потому что из него, как из закона, не видно ни причины факта, ни того, что составляет его обязательность, совершенно так же как и в том, что на 100 девочек рождается 106 мальчи-

ков, как и в том, что при известном роде лихорадки пароксизмы появляются каждый день, – что также для этой лихорадки составляет закон, то есть общее явление, между тем как многие другие могут быть и действительно бывают различными, особенными для каждого больного индивидуума.

Причины периодичности мы и тут не знаем, не знаем в чем и откуда ее обязательность, или, лучше сказать, мы самую ту констатированную общность, метафорически называя законом, как бы принимаем за обязательность. Если вместо одних планет мы возьмем все тела нашей Солнечной системы, то есть и кометы, мы должны будем сказать, что вообще они движутся по кривым, называемым коническими сечениями, к числу коих принадлежит и эллипсис. Закон получит большую общность, будучи общим явлением для большего числа орбит, но все прочие свойства его не изменятся, ничего он нам попрежнему не объяснит и не укажет, чему приписать его обязательность.

Но не только закон природы, все равно частный или общий, ничего не разъясняет – он и есть именно то, что преимущественно, даже почти исключительно, требует объяснения. Объяснение частного, отдельного факта с одной стороны малоинтересно, а с другой, по большей части, невозможно, потому что он зависит от перекрещивания множества неуловимых причин и обстоятельств. Так, в вышеприведенном астрономическом примере, кто может сказать, почему такая-то планета имеет именно такое, а не другое наклонение ее орбиты к плоскости земной эклиптики? Но эллиптичность всех этих орбит, будучи законом, то есть общим фактом, с одной стороны и вызывает объяснение, требует его, а с другой – объяснение это становится возможным и Ньютоном дано. Это объяснение также называют законом, но совершенно неправильно. Это объяснение заключается в гипотезе существования притягательной силы, свойственной всякой доле материи и распространяющейся равномерно во все стороны; и объяснение это, заметим, есть метафизическое предположение, как и всякое действительно объясняющее начало, а никак не закон природы.

Так же точно: какой интерес и какая возможность объяснить тот единичный факт, что безводная сернистая кислота состоит из 32 частей серы и 32 кислорода, а безводная серная – из 32 же серы, но 48 кислорода? Но если мы найдем, что вообще тела соединяются в немногих простых между собою отношениях и взаимно замещаются в таковых же, то есть получим общий факт, так называемый закон, то явится интерес, и

даже принудительный интерес, а вместе и возможность объяснения его, как это сделал Дальтон атомистической гипотезой, то есть предположением существования мельчайших, абсолютно неделимых частиц, составляющих материю или вещество. Этот предполагаемый атомистический состав материи никак не может быть назван законом природы (предполагая даже полную достоверность гипотезы), а так же точно, как и сила притяжения, есть объяснительное начало, и опять-таки метафизическое.

Итак, законы природы суть не что иное, как факты или явления различной степени общности; но именно это-то общее в них и требует объяснения и, конечно, само себя объяснить не может. То именно, что факты не остаются в своей единичности, в своей отдельности, а сводятся во все более и более общие категории фактов и явлений, это, и только это собственно и требует себе объяснения.

Применяя это к происхождению органических существ и к кажущемуся перескоку в ходе моих выводов, найдем, что взгляды на происхождение организмов подводятся под следующие три категории:

Взгляд Дарвина, основанный на случайности как единственно возможной в этом деле замене механической необходимости.

Взгляд, ограничивающийся подведением всех относящихся сюда явлений к закономерности, усматриваемой в области неорганической природы, то есть признающий, что различные формы – виды организмов – происходят друг от друга, хотя и не необходимо все от одной первоначальной формы, но что в основании этой трансмутации лежит закон развития, – взгляд дальше этого закона и не идущий. Представителем этого взгляда, разделяемого многими натуралистами, мы можем назвать Кёлликера.

Взгляд, также признающий эту закономерность или, точнее, требующий ее, но видящий вместе с тем во всем органическом целестремительность, и для объяснения ее принимающий разумную целепостановляющую причину. Ученые новейшего времени весьма враждебны этому взгляду, и представителем, ясно, точно, без уклонений и оговорок формулировавшим его, можно назвать только одного великого ученого – Бэра. Этого же взгляда держался Кювье и знаменитый ученик его Агассис.

Эти три взгляда могут различным образом между собою группироваться. Так, несмотря на всю противоположность первого и третьего взглядов, они имеют общую черту, соединяющую и противопоставляющую их второму взгляду. Именно оба эти взгляда восходят до объясни-

тельного начала и суть поэтому взгляды метафизические, философские; напротив того, второй взгляд – исключительно научный или, точнее сказать, хочет быть исключительно таковым.

Но и второй и третий взгляды имеют свою общую черту – ту, что они предполагают и признают закон развития, тогда как первый решительно отвергает. Наконец, первый и второй взгляды сходятся между собою в том, что отвергают цели, чураются телеологии, хотя первый и заменяет ее псевдотелеологией; третий же признает ее необходимость, основан на ней, в ней видит верховный объяснительный принцип, по отношению к которому физические процессы служат только орудиями.

Почему же, по какому праву, опровергнув первый взгляд (допустим, что и вполне удачно), я перескочил прямо в третий, миновав второй? Да по весьма простым и очевидным причинам.

Во-первых, потому, что второй взгляд ведь только хочет быть взглядом научным, но не есть таковой, так как закон филогенетического развития остается и по сие время неоткрытым и ему неизвестным. Это не научная теория, а только догадка; философским же, метафизическим он сам быть не хочет, а теперь мы ведь именно на этой точке зрения и стоим, так как с первой, научно-положительной, покончили.

Во-вторых, если бы этот закон или законы филогенетического развития и были открыты, то именно в своем качестве законов они бы нам ничего не изъяснили, а только потребовали бы объяснения. С открытием их мы стали бы как раз в то положение, в котором теперь находимся по отношению к онтогенезису, к развитию отдельных организмов, закономерность коего утверждена. Дело не в том, что мы не знаем, как произошли различные органические формы. Если бы мы знали это во всей полноте и подробности, и не гипотетически только, а под руководством опыта и наблюдения, могли бы проследить все родословное дерево, или родословные деревья животных и растений, то это нисколько не могло бы нас избавить от необходимости признать целепостановляющий разум, точно так, как мы не избавляемся от этого единственно возможного средства сделать понятным нашему уму процесс онтогенетический; закономерность которого нам известна.

Необходимость этого признания основывается вовсе не на нашем невежестве, не на нашем неведении филогенетических процессов природы. При их знании мы должны бы были с еще большею необходимостью прибегать к единственному объяснительному принципу по принудительному требованию нашего ума не только

знать, но и постигать явления. Можно даже сказать, что закон этот во всей его общности и открыт; это – внутренняя и внешняя гармония организмов, то, что Кювье в отношении частей организма к целому назвал соподчинением органов, а Бэр в еще более общем отношении, то есть сверх этого соподчинения частей, еще и в отношении организмов между собою и к внешнему миру назвал целестремительностью. И так как мы теперь стоим на умозрительной или метафизической точке зрения, то нам ничего и не остается, как, не останавливаясь на законах, или общих и общих фактах, перейти к объяснительному началу, которое иным, как метафизическим, и не бывает.

Поэтому весь спор и может состоять только – или между началом случайности как заместителем механической необходимости, или между началом целепостановляющим, непременно идеальным, то есть интеллектуальным. Следовательно, никакого перескока мною не сделано. Спор идет только между случайностью и разумностью, а не между чем-либо иным, и все грозное значение дарвинизма заключается в признании первой верховным мировым принципом. Если бы она могла быть доказана, то разум исчезает из природы, становится плеоназмом, излишним предположением, без которого поэтому можно и должно бы обходиться, и мир, сколько бы он перед нами ни притворялся гармоничным и разумным, был бы, в сущности, царством нелепости. Невозможность этого ужасного учения, ужасом своим превосходящего все вообразимое, и старался я доказать. С положительно-научной точки зрения никаких реальных переходов нет между организмами и виды постоянны. С умозрительной, метафизической, философской точки зрения филогенетическая связь между организмами вероятна, и тут, отрицая начало случайности, мы тем самым утверждаем начало целепостановляющее, идеальное или интеллектуальное, ибо середины нет никакой.

Но на самых первых страницах «Введения» я уже сказал, что учение о происхождении органических форм объемлет собою лишь одну сторону, сторону биологическую Дарвинова учения; но что оно имеет другую, нераздельную от нее (почему и в критике своей я не мог их строго отделять), более важную общеполитическую сторону, которая должна объяснить не только самопроисхождение этих форм, но и внутреннюю и внешнюю гармонию и целесообразность органического мира. Собственно только это огромное значение дарвинизма и побудило меня к моему труду в настоящей его форме, приспособленной к пониманию большинства образованных читателей.

Я употребил выражение *Дарвинова философия природы* и думаю, что выражение это верно и обозначительно, ибо, хотя Дарвин собственно нигде не формулирует своего учения как общее мировоззрение, довольствуясь лишь применением своего всеобъясняющего начала к частной зоологической и ботанической задаче; но очевидно, что если начало это в состоянии объяснить эту труднейшую из космогонических задач, то оно объяснит и все остальное, по крайней мере, всю материальную ее сторону. Провести решение задачи этой еще далее вперед принял на себя сам Дарвин, написав особую книгу о происхождении человека. А так как и при этом он не прибегает ни к какому новому принципу, довольствуясь все тем же подбором, то значит, принцип этот прилагает он не только к биологической, но и к психической стороне космогонической задачи.

Другие, правильно поняв сущность Дарвинова учения, приняли на себя труд провести это решение так сказать назад, в область астрономии, или точнее космогонии в тесном значении этого слова. Таким образом, подбор является всеобъемлющим началом, тем началом, которое преобразует сущее из хаоса в космос. Разве такое учение не есть философия природы в полном и обширнейшем значении этого слова?

Что же это за новое, под именем *подбора* в современное мирозерцание вводимое и как таковое последователями его приветствуемое начало? Я уже не раз определял его, и теперь, по окончании этой первой части моего труда, читатели могут видеть и из моего изложения, и из моей критики учения, везде подкрепленных полными цитатами из главнейших сочинений Дарвина, правильно ли я его определил, отождествив с началом абсолютной случайности. Изменения, новые органические явления происходят хаотически, то есть без всякой закономерности, без всякой системы и порядка, без всякого определенного направления; они совпадают, согласуются или не совпадают, не согласуются с предшествовавшими, старыми органическими явлениями и фактами в том же органическом существе, в других существах и с явлениями внешнего неорганического мира и сообразно с этим остаются, сохраняются или исчезают, гибнут, и органическое существо становится, таким образом, мозаикой из взаимно между собою и с требованиями внешних условий совпавших, согласовавшихся случайностей. Случайность, следовательно, обращает хаос в космос, и этой случайности оказывается, по Дарвину, вполне достаточно для произведения этого результата.

Это учение абсолютной случайности, названное учением об естественном подборе, будучи

гораздо ниже и в научном, и в эстетическом отношении – в этическом оно ему равно – учения о механической необходимости, имеет значение его заместителя или суррогата, так как эта механическая необходимость никогда не могла и до сих пор не может быть строго проведена через всю область сущего ни метафизическим, умозрительным, ни научно положительным путем. Вот главная причина того восторга, с которым принято было учение о подборе, ибо чего хочется, тому верится, и всяк дар совершен, и даровому коню в зубы не смотрят. Благо пришла поддержка, откуда ее всего менее ждали, из учения об органическом мире, где всегда *impliciter*⁶⁹ господствовала идея целесообразности, где хотя на словах и чурались ее, но на деле никогда от нее отделяться не могли. Ненавистная и будто бы ненаучная телеология заменилась псевдотелеологией, обратившей очевидную целесообразность, или, как Бэр говорит, целестремительность, в пустую обманчивую видимость.

Но неужели же учение это совершенно новое, когда ничто не ново под Луной? Неужели не имело оно своих предшественников? Я разумею предшественников не по трансмутационной теории – эти всем более или менее известны, а предшественников по учению псевдотелеологии – абсолютной случайности как верховной руководительнице при процессе обращения хаоса в космос.

Я недостаточно знаком с историей философии, чтобы обозначить все этапы, по которым проходила или могла проходить эта философская мысль; но начало ее можно указать в странном и диком учении Эмпедокла. Бэр, в столько раз упомянутой статье своей о Дарвиновом учении, находит первые зачатки трансмутационного учения у Анаксимандра, которому, говорит он, как совершенно незнакомому с строением животных, происхождение одной формы от другой казалось гораздо вероятнее, чем происхождение от безжизненного; но, замечает при этом, что, напротив того, совершенно неверно считать Эмпедокла предшественником дарвинизма.

Очевидно, что при этом Бэр имел исключительно в виду биологическую сторону учения. Для разъяснения этого вопроса он обратился к специально занимавшемуся греческою философией дерптскому профессору Тейхмюллеру⁷⁰. Из письма этого последнего, помещенного у Бэра, я вижу, как и сам Тейхмюллер это замечает, что Эмпедокл был истинным предшественником или

даже родоначальником философской стороны Дарвинова учения.

В этом письме Тейхмюллер приводит сначала несколько сохранившихся стихов Эмпедокла, в которых действительно нельзя усмотреть начала Дарвинова учения о происхождении одних органических форм от других; но затем он продолжает: «Что касается до происхождения существ, то Эмпедокл имел об этом странные и причудливые представления, которые Аристотель во многих местах осмеивает. Именно, он думал, что Природа, при ее случайных смещениях, не была счастлива с самого начала, но образовывала много такого, что не могло сохраниться. Только впоследствии, полагал он, было достигнуто то смешение, которое выказывает всю сущность растений и животных в их совершенном, способном к размножению состоянии. Так, он говорит, например, что многие головы вырастали без шей, и голые руки бродили без плеч, тоже и глаза без лбов: многие люди с двойным лицом и двойной грудью, и скоты с передом человеческим, люди с бычачьими головами и мужчины с женскими частями» (любопытно, почему же они были тогда мужчинами?).

«Аристотель приводит подобные места из Эмпедокла, чтобы выставить в полном свете нелепость учения, которое формы живых существ, организованные по твердой цели (*telos*), хочет объяснить просто из случайного совпадения природных сил. С дарвинизмом разделяет, следовательно, Эмпедокл только общую мысль, что нынешние формы существ образовались лишь после долгой борьбы случайно сталкивавшихся (прибавлю и теперь продолжающих сталкиваться) сил природы, без присущей им внутри цели; способ же, которым он себе это представлял, не имеет ни малейшего сходства с Дарвиновой гипотезой»⁷¹.

У Эмпедокла руки были развязаны, знание не направляло, но зато и не стесняло его мысли, широко было поле невежества, и его фантазии был полный разгул. Поэтому, как Аристотелю, так и нам, мысли его представляются вполне нелепыми. Дарвин придал всему, конечно, благообразную, приличную и сообразную с нынешнею степенью наших знаний форму, но сущность осталась Эмпедоклова.

И по Дарвину органическое существо есть мозаика случайно происходивших, совпадавших и накапливавшихся изменений, а процесс образования его – процесс калейдоскопический; и Аристотель, видевший в животных и в растениях

⁶⁹ Скрыто (лат.).

⁷⁰ Густав Тейхмюллер (1832–1888) – немецкий философ и историк философии (Ред.).

⁷¹ Baer. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Zweiter Theil, S. 254, 255 в выноске.

существа, устроенные по твердо определенной цели, подобно тому как и в новейшее время видели это Кювье, Бэр и все их последователи, – Аристотель, конечно, не мог бы не увидеть все той же безобразной и достойной осмеяния Эмпедокловой идеи и под благообразною формой дарвинизма.

Если у Дарвина головы и не разгуливают без шей, то в сущности точно так же должны были разгуливать ирландские олени с головами, отягощенными более тяжелыми рогами, чем их шеи, позвонки, колени с их связками, тяжами и мускулами могли нормальным образом выносить, так как, по его собственному изложению процесса образования этого животного, все это для достижения взаимной ответственности изменялось лишь постепенно одно за другим, а не совместно, как того бы требовали Аристотелево *telos*, или соподчиненность органов Кювье, или «развитие, руководимое разумом» Бэра⁷². Да и не только разгуливали эти олени, но должны были еще одерживать победы над своими родоначальниками, несмотря на очевидную, хотя бы и слабую невыгоду, происходившую от этой мозаичности, вопреки даже здраво, всесторонне и беспристрастно понятому началу подбора.

Но мы видели, что целесообразность и гармония органического мира не могли произойти путем подбора уже по одному тому, что всякое индивидуальное изменение, всякая индивидуальная особенность, какую бы степень выгоды за ними ни признавать, должны исчезнуть через скрещивание, потонуть, поглотиться, раствориться в нормальных численно преобладающих формах. Если же предположить, что такая особенность стала разом достоянием значительного числа особей, то этим самым особенность эта не будет уже индивидуальной, и тут не будет уже никакого подбора, а действие совершенно определенных причин, изменение по определенному плану.

Если, наконец, эти изменения должны происходить крупными скачками, то они не могли бы оказаться приуроченными к внутренним и внешним усилиям их бытия иначе, чем по определенному плану развития, имеющему в виду достижение определенной цели. Только такую форму трансмутации, такую форму происхождения вида от вида позволяют нам принять, хотя все же только гипотетически, данные положительной науки.

Таким образом, если мы и признаем происхождение одних органических форм от других, в

сущности единственно по той же причине, которая, по мнению Бэра, побудила к этому Анаксимандра, то мы заменим лишь целесообразность, понимаемую статически, как ряд разумно предустановленных явлений, состоящих в цельных, готовых, взаимно и с самими собою преобразованных формах – целесообразностью, понимаемую динамически, то есть целесообразным процессом развития.

Точно так, как для постижения процесса онтогенетического образования органических форм, имеющего своим результатом целесообразно устроенное отдельное растение или животное, так и для постижения филогенетического процесса, имеющего своим результатом целесообразность и гармонию всего органического мира, нам ничего не остается, как прибегнуть к идеальному, или точнее и определительнее, к интеллектуальному началу.

Остановиться на предполагаемой закономерности этого процесса – с философской точки зрения мы также не можем, потому что закон есть ничего более, как общий факт, который не только сам себя не объясняет, но напротив того, и есть то именно, что требует объяснения.

За очевидно несостоятельностью Дарвиновой псевдотеологии, необходимо принять телеологию настоящую, как верховный объяснительный принцип морфологических явлений или морфологического процесса. В этой моей заключительной главе, я имел возможность собственно только коснуться этих выводов, дальнейшее же развитие их и более строгое и подробное изложение и доказательство этих мыслей я предоставляю себе сделать при продолжении моего труда.

Цель этой первой части состояла в том, чтобы показать ложность Дарвинова учения как теории, безотносительно к другим требованиям человеческого духа, – и я исполнил это, как умел. При этом я имел главным образом в виду показать, как и сделал это в разборе строения и изменения плавательного пузыря рыб, что точка, с которой мы должны рассматривать организмы и то, что мы разумеем под целесообразностью их строения, – есть точка зрения морфологическая, а не адаптивная.

Лучше, чем вдаваясь в общие рассуждения, могу я выразить мысль мою на конкретном примере, для которого возьму шахматную игру. Очевидно, что общая задача ее имеет только три возможных решения. Все условия игры совершенно равны для обоих противников, кроме лишь того, что один должен играть первым. Это обстоятельство может быть или безразличным, и в таком случае при правильной игре она должна

⁷² *Baer. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Zweiter Theil, S. 240.*

кончиться вничью; или оно дает перевес начинающему, и тогда он должен выиграть; или оно служит к невыгоде начинающего, и тогда он должен непременно проиграть.

Но ум человеческий так слаб, человек в сущности так ограничен, чтобы из вежливости не сказать, глуп, что точное решение и этой, сравнительно легкой задачи ему не под силу, и самый искусный игрок играет адаптивно, то есть применяет свои ходы к ходам своего противника, к его и к своим предшествовавшим ходам, одним словом, всякий раз к данному частному случаю, к данному положению игры.

Но вот, в прошедшем столетии, кажется, разнесся слух, что изобретен шахматный автомат, непременно выигрывающий с кем бы ни играл. Когда пришло известие об открытии телефона, и даже когда прочитали, что машинка, заряженная в Америке приветствием Парижской академии наук, разрядилась приветственной речью ученому собранию, – все изумились, однако же сразу поверили. Но шахматному автомату никто из понимавших, что такое шахматная игра, не поверил. Все были убеждены, что это не человеческого ума дело, что абсолютное решение шахматной задачи ему не под силу, хотя теоретическая возможность этого решения очевидна. При этом решении, всякий ход, исходя из общих начал условий задачи, был бы в то же время и вполне адаптивен; ведя к решению общей задачи, он решал бы и все частные задачи, ее составляющие при каждом ходе (предполагая, что и противник играет правильно).

Совершенно в таком положении находится и несравненно сложнее шахматной задачи задача мировой гармонии – космоса, и труднейшая часть ее – задача гармонии органического мира. Иначе как с адаптивной точки зрения мы ее постигнуть не можем, и потому радуемся, что такое решение нам предложено, и относимся к нему снисходительно.

Но относясь к нему более строго, мы не только усмотрим, что решение неверно, но что в самой подлежащей нам задаче явно напечатлен тот ее характер, что адаптивная ее сторона совершенно второстепенна, что адаптации, принорования вытекают как ряд частных результатов из общего решения, которое иным, нежели чисто морфологическим, быть не может.

Эту-то морфологическую задачу и предлагает нам органический мир, и как на таковую мы и должны на нее смотреть. Решить ее нам не удастся, хотя бы нам удалось сделать открытия в сто раз более изумительные, чем наши паровые и электрические двигатели, чем телефоны и фонографы, хотя бы мы научились переноситься с

планеты на планету, хотя бы удалось искусственно произвести самые сложные органические вещества и даже заставить комбинироваться материю в живые органические клеточки; ибо все это гораздо легче и проще решения шахматной задачи, которая уже нам не под силу, а решение морфологической задачи неизмеримо труднее ее.

Мы видели бы, как и при каких условиях эти клеточки происходят, как теперь уже видим, как происходят кристаллы, и, однако же, не понимаем их складывания в правильные и сравнительно простые геометрические формы. Мы можем только раскрыть предлагаемую нам органическим миром морфологическую задачу во всей ее полноте и совершенстве и понять, что такое ее целесообразность. Эта целесообразность вовсе не заключается в бесчисленных частных приношениях пользы и красоты, а, как и в неразрешенной шахматной задаче, в осуществлении общего гармонического плана, по отношению к которому эти частные приношения суть их необходимый результат, как были бы частно примененными и отдельные шахматные ходы нашего абсолютно непобедимого игрока. Главный же и единственно существенный результат такого изучения природы для нашего разума есть сознание идеального, то есть интеллектуального характера причины, производшей и устроившей органический, да и весь мир.

Впоследствии, когда буду говорить о происхождении человека, мы увидим, насколько учение Дарвина соответствует нашим нравственным требованиям, насколько оно может служить основанием человеческой нравственности. Но теперь же считаю должным и возможным уже выразить свое убеждение, что изо всех мировоззрений Дарвинов взгляд на природу есть наименее эстетический. Строго проведенное механическое мировоззрение (конечно, если бы оно было возможно) представляется нам величаво-бесстрастным, обладающим грозным величием, перед которым нам остается только преклоняться, как перед древним фатумом. По учению пантеистов мы связаны с миром сочувственною связью, мы одушевлены тем же духом, который животворит и всю природу и в нас достигает сознания самого себя; законы нашей логики суть те самые, по которым создавался и развивался мир. Учение новейших пессимистов носит на себе эгегический характер сознания несчастья, удручающего весь мир, которое каким-то непонятным, конечно, образом разделяет сам виновник всего феноменального бытия – бессознательное Абсолютное, которое, конечно, также неизвестно почему, для чего и как, старается разными путями избавить мир, нас и себя от горя бытия.

Но каким жалким, мизерным представляются мир и мы сами, в коих вся стройность, вся гармония, весь порядок, вся разумность являются лишь частным случаем бессмысленного и нелепого; всякая красота – случайною частностью безобразия; всякое добро – прямою непоследовательностью во всеобщей борьбе, и космос – только случайным частным исключением из бродящего хаоса. Подбор – это печать бессмысленности и абсурда, напечатленная на челе мироздания, ибо это – замена разума случайностью.

Никакая форма грубейшего материализма не спускалась до такого низменного мирозерцания; по крайней мере, ни у одной не хватало на это последовательности. Они останавливались и не смели или не умели, идти далее по единственному, впрочем, открытому им пути, ибо, повторно еще раз, эта честь должна быть оставлена за

дарвинизмом, что, претендуя объяснить одну частность: происхождение и гармонию органического мира, хотя и безмерно важную, но все-таки частность, он в сущности заключает в себе целое мировоззрение.

Шиллер в великолепном стихотворении «Покрывало Изиды» заставляет юношу, дерзнувшего приподнять покрывало, скрывавшее лик истины, пасть мертвым к ногам ее. Ежели лик истины носил на себе черты этой философии случайности, если несчастный юноша прочел на нем роковые слова: *естественный подбор*, то он пал, пораженный не ужасом перед грозным ее величием, а должен был умереть от тошноты и омерзения, перевернувших все его внутренности при виде гнусных и отвратительных черт ее мизерной фигуры. Такова должна быть и судьба человечества, если это – Истина.